

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

г. Москва

№ 2—3

1940 г.

★ ★ ★

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Мих. Шолохов — Тихий Дон, роман	3
Алексей Сурков — Так мы росли, стихи	103
А. Новиков-Прибой — Броненосец «Ушаков», новая глава из романа «Цусима»	107
В. Стефаник — Рассказы, перевод с украинского	124
Кирилл Левин — Из походной записной книжки	146
Игорь Губанов — Сыну, стихотворение	158
Евгений Юнга — Колумбы Росские, эпизоды исторической хроники	160
Борис Брик — Шамиль, баллады и песни	197
Петро Панч — Александр Пархоменко, перевод с украинского	210
Сергей Крушинский — Теплые горы, роман	229
Степан Щипачев — Три стихотворения	272

Полковник Е. Болтин — Ленин и Сталин — организаторы Красной Армии и вдохновители ее побед	274

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Председателя Совета Народных Комиссаров СССР товарища Вячеслава Михайловича Молотова Орденом Ленина	286
Приветствие ЦК ВКП(б) товарищу Молотову	288
Приветствие Главного Военного Совета товарищу Молотову	289
М. И. Калинин — Пример большевистской партийности	290
Н. Т. Виноградов — Наш Молотов	294

Военн. инженер Г. Невский — Укрепленные районы	299

Саймон Хэкси — Кто правит Англией, из книги «Консервативные члены парламента», перевод с английского	304

И. Лежнев — Мироззрение Н. Г. Чернышевского	363
Из переписки А. П. Чехова с Н. А. Лейкиным (неопубликованные письма)	379

БИБЛИОГРАФИЯ

И. Дукер — Л. Тимофеев. Теория стиха	396
В. Соболев — О. Городовиков. В рядах Первой Конной армии	399

★

Тихий Дон

РОМАН¹

МИХ. ШОЛОХОВ

Книга четвертая

Часть восьмая

★

Глава I

С юга двое суток дул теплый ветер. Сошел последний снег на полях. Отгрелись пенистые вешние ручьи, отыграли степные лога и речки. На заре третьего дня ветер утих и пали над степью густые туманы, засеребрились влагой кусты прошлогоднего ковыля, потонули в непроглядной белесой дымке курганы, буераки, станицы, шпили колоколен, устремленные ввысь вершины пирамидальных тополей. Стала над широкой донской степью голубая весна.

Туманным утром Аксинья впервые после выздоровления вышла на крыльцо и долго стояла, опьяненная бражной сладостью свежего весеннего воздуха. Преодолевая тошноту и головокружение, она дошла до колодца в саду, поставила ведро, присела на колодезный сруб.

Иным, чудесно обновленным и обольстительным, предстал перед нею мир. Блестящими глазами она взволнованно смотрела вокруг, по-детски перебирая складки платья. Повитая туманом даль, затопленные талой водою яблони в саду, мокрая огорожа и дорога за ней с глубоко промытыми прошлогодними колеями, — все казалось ей невиданно красивым, все цвело густыми и нежными красками, будто осиянное солнцем.

Проглянувший сквозь туман клочок чистого неба ослепил ее холодной синевой; запах прелой соломы и оттаявшего чернозема был так знаком и приятен,

что Аксинья глубоко вздохнула и улыбнулась краешками губ; незамысловатая песенка жаворонка, донесшаяся откуда-то из туманной степи, разбудила в ней неосознанную грусть. Это она — услышанная на чужбине песенка — заставила учащенно забиться аксиньино сердце и выжала из глаз две скупых слезинки...

Бездумно наслаждаясь вернувшейся к ней жизнью, Аксинья испытывала огромное желание ко всему прикоснуться руками, все оглядеть. Ей хотелось потрогать почерневший от сырости смородиновый куст, прижаться щекой к ветке яблони, покрытой сизым бархатистым налетом, хотелось перешагнуть через разрушенное прясло и пойти по грязи, бездорожно, туда, где за широким логом сказочно зеленело, сливаясь с туманной далью, озимое поле...

Несколько дней Аксинья провела в ожидании, что вот-вот появится Григорий, но потом узнала от заходивших к хозяйину соседей, что война не кончилась, что многие казаки из Новороссийска уехали морем в Крым, а те, которые остались, пошли в Красную Армию и на рудники.

К концу недели Аксинья твердо решила идти домой, а тут вскоре нашлся ей и попутчик. Как-то вечером в хату, не постучавшись, вошел маленький сутулый старичок. Он молча поклонился, стал расстегивать мешковато сидевшую на нем грязную, распоротую по швам английскую шинель.

¹ См. «Новый мир», кн. кн. 11 и 12 за 1937 г., 1, 2 и 3 за 1938 г.

— Ты что ж это, добрый человек, «здравствуйте» не сказал, а на жительство располагаешься? — спросил хозяин, с изумлением разглядывая незваного гостя.

А тот проворно снял шинель, встряхнул ее у порога, бережно повесил на крюк, и, поглаживая коротко остриженную седую бородку, улыбаясь, сказал:

— Прости ради Христа, мил человек, но я по нынешним временам так обучен: спервоначалу раздаться, а потом уж просить ночевать, иначе не пустят. Народ нынче грубый стал, гостям не радуется...

— Куда ж мы тебя положим? Видишь, тесно живем, — уже мирнее сказал хозяин.

— Мне и места-то надо с гулькин нос. Вот тут, у порога, свернусь и усну.

— Ты кто же такой будешь, дедушка? Беженец? — любопытствовала хозяйка.

— Вот-вот, беженец и есть. Бегал, бегал, до моря добег, а зараз уж оттуда потихонечку иду, приморился бегать-то... — отвечал словоохотливый старик, присаживаясь у порога на корточки.

— А кто такой есть? Откуда? — продолжал допытываться хозяин.

Старик достал из кармана большие портняжные ножницы, повертел их в руках и, все с той же не сходящей с губ улыбкой, сказал:

— Вот по моему чину документ, от самого Новороссийска с ним командируюсь, а родом я издадека, из-за Вешенской станицы. Туда и иду, попивши в море соленой воды.

— И я вешенская, дедушка, — вспыхнув от радости, сказала Аксинья.

— Скажи на милость! — воскликнул старик. — Вот где станицу довелось повстречать! Хотя по нынешним временам это и не диковинно: мы зараз — как евреи: рассеялись по лицу земли. На Кубани так: кинь в собаку палкой, а попадешь в донского казака. Понавтыкано их везде — не оберешься, а сколько в земле зарыто — и того больше. Нагляделся я, мил люди, всякой всячины за это отступление. Какую нужду народ трепает, и не расска-

жешь! Позавчера сижу на станции, рядом со мной благородная женщина в очках сидит, сквозь очки вошек на себе высматривает. А они по ней пешком идут. И вот она их сымает пальчиками, а сама так морщится, как будто лесовую яблоку раскусила. Начнет эту бедную вошку давить — еще дюжей морщится, аж всю ее наперекос берет, до того ей противно! А другой твердык человека убивает и не морщится, не косо-ротится. При мне один такой молодец трех калмыков зарубил, а потом шашку вытер об конскую гриву, достал папироску, закурил, подъезжает ко мне, спрашивает: «Ты чего, дед, гляделки вылупил? Хочешь, тебе голову срублю?» — «Что ты, говорю, сынок, бог с тобой! Срубишь голову мне, а тогда как же я хлеб буду жевать?». Засмеялся он и отъехал.

— Человека убить иному, какой руку на этом деле наломал, легче, чем вшу раздавить. Подешевел человек за революцию, — глубокомысленно вставил хозяин.

— Истинное слово! — подтвердил гость. — Человек — он не скотина, ко всему привыкает. Вот я и спрашиваю у этой женщины: «Кто вы такая будете? По обличью вы, словно бы, не из простых». Глянула она на меня, слезой умылась. «Я — жена генерала-майора Гречихина». Вот тебе, думаю, генерал, вот тебе и майор, а вшей, как на шелудивой кошке блох! И говорю ей: «Вы, ваше превосходительство, ежели будете, извиняюсь, ваших насекомых козявок так переводить, так вам работы до Покрова хватит. И коготки все пообломаете. Давите их всех разом!» — «Как так?» — спрашивает. Я и посоветовал ей: «Сьгмите, говорю, одежду, расстелите на твердом месте, и бутылкой их». Гляжу — сгреблась моя генеральша и — за водокачку, гляжу — катает по рубашке бутылку зеленого стекла, да так здорово, как, скажи, она всю жизнь ее катала! Покрасовался я на нее и думаю: у бога всего много, напустил он козявок и на благородных людей, пущай, мол, они и ихней сладкой кровяцы пососут, не все же им трудовой кровушкой упиваться... Бог — он не Ми-

кишка! Си свое дело знает. Иной раз он подобрееет к людям и до того правильно распорядится, что лучше и не придумаешь...

Безумолку болтая и видя, что хозяйева слушают его с большим вниманием, — портной ловко намекнул, что мог бы рассказать еще немало занимательного, но так проголодался, что поклонило его в сон.

После ужина, примащиваясь спать, он спросил у Аксиньи:

— А ты, станишница, долго ли думаешь тут гостить?

— Собираюсь домой, дедушка.

— Ну, вот и пойдем со мной вместе, все веселее будет.

Аксинья охотно согласилась, и наутро, попрощавшись с хозяевами, они покинули затерявшийся в степи поселок Ново-Михайловский.

★

На двенадцатые сутки ночью пришли в станицу Милютинскую. Ночевать выпросились в большом, богатом на вид доме. Утром аксиньин спутник решил остаться на неделю в станице, отдохнуть и залечить растертые до крови ноги. Итти дальше он не мог. В доме нашлась для него портняжная работа, и наскучавший по делу старик живо примостился у окошка, достал ножницы и связанные веревочкой очки, проворно начал распарывать какую-то ветошь.

Прощаясь с Аксиньей, старый балагур и весельчак перекрестил ее и неожиданно прослезился, но тотчас же смахнул слезы, с обычной для него шутовской восторью сказал:

— Нужда — не родная матушка, а людей роднит... Вот уж и жалко тебя... Ну, да нечего делать, ступай одна, дочушка, поводырь-то твой охромел оразу на все ноги, должно быть накормили его где-нибудь ячменным хлебом... Да и то сказать, промаршировали мы с тобой порядочно, для моих семидесяти годков даже чересчур. Будет случай — перекажу моей старухе, что сиз голубок ее жив и здоров, и в ступе его толкли, и в мялке мяли, а он все живой, на ходу добрым людям штаны шьет, и что не видно домой припожалует... Так и передай ей: старый дурак, мол, кончил от-

ступать и наступает обратно к дому, не чает, когда до печки доберется...

Еще несколько дней провела Аксинья в дороге. От Боковской доехала до Татарского на попутной подводе. Поздно вечером вошла в настезь распахнутую калитку своего двора, глянула на мелеховский курень и задохнулась от внезапно подступивших к горлу рыданий... В пустой, пахнувшей нежилым кухне выплакала все скопившиеся за долгое время горькие бабьи слезы, а потом сходил на Дон за водой, затопила печь, присела к столу, уронив на колени руки. Задумавшись, она не слышала, как скрипнула дверь, и очнулась, когда Ильинична, войдя, негромко сказала:

— Ну, здравствуй, соседушка! Долго ж ты пропадала в чужих краях...

Аксинья испуганно взглянула на нее, встала.

— Ты чего воззрилась на меня и молчишь? Аль плохие вести принесла? — Ильинична медленно подошла к столу, присела на край лавки, не сводя пытливого взгляда с аксиньиного лица.

— Нет, какие же у меня вести... Не ждала я вас, задумалась что-то и не слышала, как вы вошли... — растерянно проговорила Аксинья.

— Исхудала ты, в чем и душа держится.

— В тифу была...

— Григорий-то наш... Он как же... Вы где с ним расстались? Живой он?

Аксинья коротко рассказала. Ильинична выслушала ее, не проронив слова, подконец спросила:

— Он, когда оставил тебя, не хворый поехал?

— Нет, он не хворал.

— И больше ты об нем ничего не слышала?

— Нет.

Ильинична облегченно вздохнула:

— Ну вот, спасибо на добром слове. А тут по хутору разное брешут про него...

— Что же? — чуть слышно спросила Аксинья.

— Так, пустое... Всех не переслушаешь. Из хуторных один только Ванька Бесхлебнов вернулся. Он видал Гришу

в Катеринодаре больного, а другим я не верю!

— А что говорят, бабушка?

— Прослыхали мы, что какой-то казачишка с Сингинского хутора говорил, будто зарубили Гришу красные в Новороссийском городе. Ходила я пеши в Сингин — материнское-то сердце не терпит, — нашла этого казачишку. Отрекся он. И не видал, говорит, и не слышал. Ишо слух прошел, будто посадили в тюрьму, и там он помер от тифу... — Ильинична опустила глаза и долго молчала, рассматривая свои узловатые тяжелые руки. Обрюзгшее лицо старухи было спокойно, губы строго поджаты, но вдруг как-то сразу на смуглых скулах ее проступил вишневый румянец, и мелко задрожали веки. Она взглянула на Аксинью сухими, иступленно горящими глазами, хрипло сказала:

— А я не верю! Не может быть, чтобы лишилась я последнего сына! Не за что богу меня наказывать... Мне уж и жить-то чуть осталось... Мне жить вовсе мало осталось, а горюшка и без этого через край хлебнула!.. Живой Гриша! Сердце мое не вещует, — значит, живой он, мой родимый!

Аксинья молча отвернулась.

В кухне долго стояла тишина, потом ветер распахнул дверь в сени и стало слышно, как глухо ревет за Дном в тополях полая вода и потревоженно перекликаются на разливе дикие гуси.

Аксинья закрыла дверь, прислонилась к печке.

— Вы не печалуйтесь об нем, бабушка, — тихо сказала она: — разве такого хворость одолеет? Он крепкий, прямо как железный. Такие не помирают. Он всю дорогу в трескучие морозы без перчаток ехал...

— О детишках-то он вспоминал? — устало спросила Ильинична.

— И о вас, и о детишках вспоминал. Здоровые они?

— Здоровые, чего им подеется. А Пантелей Прокофич наш помер в отступе. Остались мы одни...

Аксинья молча перекрестилась, про себя дивясь тому спокойствию, с каким старуха сообщила о смерти мужа.

Опираясь о стол, Ильинична тяжело встала.

— Засиделась я у тебя, а на базу уж ночь.

— Сидите, бабушка.

— Там Дуняшка одна, надо итти.— Поправляя платок на голове, она оглядела кухню, поморщилась: — Дымок из печки подходит. Надо было пустить кого-нибудь на жительство, когда уезжала. Ну, прощай! — И уже взявшись за дверную скобу, не глядя назад, сказала: — Обживешься — зайди к нам, проведай. Может, услышишь про Григория что, — скажи.

С этого дня отношения между Мелеховыми и Аксиньей круто изменились. Тревога за жизнь Григория как бы сблизила и породнила их. На следующее утро Дуняшка, увидев Аксинью во дворе, окликнула ее, подошла к плетню и, обнимая худые аксиньины плечи, улыбнулась ей ласково и просто.

— Ох, и похудела же ты, Ксюша! Одни мосольчики остались.

— Похудеешь от такой жизни, — ответно улыбнулась Аксинья, не без внутренней зависти разглядывая цветущее зрелой красотой, румяное девичье лицо.

— Была у тебя мать вчера? — почему-то шопотом спросила Дуняшка.

— Была.

— Я так и подумала, что она к тебе пошла. Про Гришу спрашивала?

— Да.

— А не кричала?

— Нет, твердая она старуха.

Дуняшка, доверчиво глядя на Аксинью, сказала:

— Лучше б она покричала, все ей легче было бы... Знаешь, Ксюша, какая-то она с этой зимы чуднѣя стала, не такая, как раньше была. Услыхала она про отца, я думала, что сердце у нее зайдет, испужалась страшно, а она и слезинки не выронила. Только и сказала: «Царство ему небесное, отмучился милый мой...». И до вечера ни с кем не гутарила. Я к ней и так и сяк, а она рукой отмахивается и молчит. То-то страсти я набралась в этот день! А вечером убрала скотину, пришла с надворья и спрашиваю у ней: «Маманя.

вечерять будем чего варить?». Отошло у нее сердце, заговорила... — Дуняшка вздохнула и, задумчиво глядя куда-то через плечо Акиньи, спросила:

— Григорий наш помер? Верно это болтают?

— Не знаю, милушка.

Дуняшка сбоку испытующе поглядела на Акинью, вздохнула еще глубже.

— Маманя по нем, ну, чисто, истосковалась вся! Она его иначе и не зовет: «мой младшенький». И никак не верит, что его в живых нету. А ты знаешь, Ксюша, ежли она узнает, что он взаправди помер, — она от тоски сама померет. Жизнь-то от нее уж отошла, одна зацепка у ней — Григорий. Она и к внучатам какая-то нежеланная стала, и в работе — все у ней из рук валится. Ты вздумай, за один год у нас четверо в семье...

Движимая состраданием, Акинья погнулась через плетень, обняла Дуняшку, крепко поцеловала ее в щеку.

— Займи матерю чем-нибудь, моя хорошая, не давай ей дюже горевать.

— Чем же ее займешь? — Дуняшка вытерла кончиком платка глаза, попросила:

— Зайди к нам, погутарь с ней, все ей легче будет. Нечего тебе нас чураться!

— Зайду как-нибудь, беспременно зайду!

— Я завтра, должно, на поля поеду. Спряглись с аникушкиной бабой, хотим хоть десятины две пшеницы посеять. Ты-то не думаешь сеять себе?

— Какая я посевища, — невесело улыбулась Акинья. — Не на чем, да и не к чему. Одной мне мало надо, проживу и так.

— Про Степана твоего что слышно?

— А ничего, — равнодушно ответила Акинья, и неожиданно для себя сказала: — Я по нем не дюже сохну. — Нечаянно сорвавшееся признание смutilо ее, и она, прикрывая смущение, торпливо сказала: — Ну, прощай, девонька, пойду в курене прибирать.

Делая вид, как будто она не заметила акиньиного замешательства, глядя в сторону, Дуняшка сказала:

— Погоди трошки, я вот что хочу те-

бе сказать, ты не пособишь нам в работе? Земля пересыхает, боюсь—не управимся мы, а казаков во всем хуторе двое осталось, и те калеки.

Акинья охотно согласилась, и добольная Дуняшка пошла собираться.

Весь день она деятельно готовилась к выезду: с помощью аникушкиной вдовы подсеяла зерно, кое-как подправила бороны, смазала колеса арбы, наладила сеялку. А вечером нагребла в платок очищенной пшеницы и отнесла на кладбище, посыпала могилы Петра, Натальи и Дарьи, чтобы поутру стелелись на родные могилки птицы. В детской простоте своей она верила, что веселое птичье щебетанье будет услышано мертвыми и обрадует их...

★

Только перед рассветом устанавливалась над Обдольем тишина. Глухо ворковала вода в затопленном лесу, омывая бледнозеленые стволы тополей, мерно раскачивая потонувшие вершинки дубовых кустов и молодого осинника; шуршали наклоненные струей метелки камыша в залитых озерах; на разливе, в глухих заводях, — там, где поляя вода, отражая сумеречный свет звездного неба, стояла неподвижно, как замороженная, — чуть слышно перекликались казарки, сонно посвистывали чирковые селезни, да изредка звучали серебряные трубные голоса заночевавших на привольи пролетных лебедей. Иногда всплескивала в темноте жирующая на просторе рыба; по воде, усеянной золотыми бликами, далеко катилась зыбкая волна и слышался предостерегающий гогот потревоженной птицы. И снова тишина окутывала Обдолье. Но с рассветом, когда лишь чуть розовели меловые отроги гор, подымался низовый ветер. Густой и мощный, он дул против течения. По Дону бугрились саженные волны, бешено клокотала вода в лесу, стояли, раскачиваясь, деревья. Ветер ревел целый день и утихал глубокой ночью. Такая погода стояла несколько дней.

Над степью повисла сиреневая дымка. Земля пересыхала, приостановились в росте травы, по зяби пошли заструги.

Почва выветривалась с каждым часом, а на полях хутора Татарского почти не видно было людей. Во всем хуторе осталось несколько древних стариков, из отступления вернулись неспособные к труду обмороженные и больные казаки, и в поле работали одни женщины да подростки. По обезлюдевшему хутору ветер гонял пыльцу, хлопал ставнями куреней, ворошил солому на крышах сараев. «Будем в нынешнем году без хлеба, — говорили старики. — Одни бабы на полях, да и то через три двора сеют. А мертвая земля не зародит...».

На другой день после выезда в поле, перед закатом солнца, Аксинья погнала к пруду быков. Около плотины, держа в поводу оседланную лошадь, стоял десятилетний мальчишка Обнизов. Лошадь жевала губами, с серого бархатистого храпа ее падали капли, а спешившийся ездок забавлялся: бросал в воду комки сухой глины, смотрел, как расходятся по воде круги.

— Ты куда это собрался, Ванятка? — спросила Аксинья.

— Харчи привозил матери.

— Ну, что там в хуторе?

— А ничего. Дед Герасим здо-о-оровенного сазана в вентери нынче ночью поймал. А ишо пришел из отступа Федор Мельников.

Приподнимаясь на цыпочки, мальчишка взнуздal лошадь, взял в руку прядку гривы и с дьявольской ловкостью вскочил на седло. От пруда он поехал — как рассудительный хозяин — шагом, но спустя немного оглянулся на Аксинью и поскакал так, что на спине его пузырем вздулась выцветшая голубенькая рубашонка.

Пока пили быки, Аксинья прилегла на плотине и тут же решила итти в хутор. Мельников был служивый казак, и он должен был знать что-либо об участи Григория. Пригнав быков к стану, Аксинья сказала Дуняшке:

— Схожу в хутор, а завтра рано прийду.

— Дело есть?

— Дело.

Наутро Аксинья вернулась. Она пошла к запрягавшей быков Дуняшке, беспечно помахивая хворостиной, но бро-

ви ее были нахмурены, а в углах губ лежали горькие складки.

— Мельников Федор пришел. Ходила, спрашивала у него про Григория. Ничего не знает, — сказала она коротко и, круто повернувшись, отошла к сеялке.

После сева Аксинья принялась за хозяйство: посадила на бахче арбузы, обмазала и побелила курень, сама — как сумела — покрыла остатками соломы крышу сарая. Дни проходили в работе. Но тревога за жизнь Григория ни на час не покидала Аксинью. О Степане Аксинья вспоминала с неохотой, и почему-то ей казалось, что он не вернется, но, когда в хутор приходил кто-либо из казаков, она сначала спрашивала: «Степана моего не видал?», а уж потом, осторожно и исподволь, пыталась выведать что-либо о Григории. Про их связь знали все в хуторе. Даже охочие до сплетен бабы перестали судачить о них, но Аксинья стыдилась выказывать свое чувство, и лишь изредка, когда скупой на слова служивый не упоминал про Григория, она, щуря глаза и заметно смущаясь, спрашивала: «А соседа нашего, Григория Пантелевича, не доводится встречать? Мать об нем беспокоится, высохла вся...».

Никто из хуторных казаков не видел ни Григория, ни Степана после сдачи Донской армии в Новороссийске. И только в конце июня к Аксинье зашел пробиравшийся за Дон сослуживец Степана с хутора Колундаевского. Он-то и сообщил ей:

— Уехал Степан в Крым, верное слово тебе говорю. Сам видал, как он грузился на пароход. Погутарить с ним не пришлось. Давка была такая, что по головам ходили. — На вопрос о Григории уклончиво ответил: — Видал на пристани, в погонах он был, а после не трапилось выдать. Много офицеров в Москву увезли, кто его знает, где он зараз...

А неделю спустя в Татарский явился раненый Прохор Зыков. Его привезли со станции Миллерово на обывательской подводе. Услышав об этом, Аксинья бросила доить корову, припустила к ней телка и, на ходу покрыв-

шись платком, торопливо пошла, почти побежала к зыковскому базу. «Уж Прохор знает, уж он-то должен знать! А что ежли скажет, что нету Гриши в живых? Как же я тогда?» — думала она дорогой, и с каждой минутой все больше замедляла шаги, прижимая руку к сердцу, страшась услышать черную весть.

Прохор встретил ее в горнице, широко улыбаясь, пряча за спину кудрой оборубок левой руки.

— Здорово, односумка! Здорово! Живую тебя видать! А мы уж думали, что ты дубу дала в этом поселке. Ох, и тяжелехонько ж ты лежала... Ну, как он, тифок, прихорашивает вашего брата? А меня, вот видишь, как поляжи обработали, в рот им дышло! — Прохор показал пустой, завязанный узлом рукав защитной гимнастерки. — Жена увидала, слезьми кричит, а я ей говорю: «Не реви, дура, другим головы отрывают, и то не обижаются, а рука — эка важность! Зараз деревянные придельвают. Энта, по крайней мере, холоду не будет бояться, и обрежешь ее — кровь не пойдет». Беда, что не научился, девка, одной рукой с делами управляться. Штаны не застегну, и шабаш! От самого Киева до дому с расстегнутой мотней ехал. Страм-то какой! Так что ты уж извиняй, ежли непорядок за мной заметишь... Ну, проходи, садись, гостем будешь. Погутарим, пока бабы моей нету. Снарядил ее, анчихриста, за самогонкой. Муж приехал с оторватой рукой, а ей и проздравить его нечем. Все вы такие без мужьев, я вас, чертей мокрохвостых, знаю до тонкостей!

— Ты бы сказал...

— Знаю, скажу. Велел вот как кланяться, — Прохор шутливо поклонился, поднял голову и удивленно шевельнул бровями: — Вот тебе и раз! Чего же ты кричишь, глупая? Все вы, бабы, такие крученые-верченые. Убьют — кричат, живой осталась — опять кричат. Утрись, утрись, чего рассопливилась-то? Говорю тебе, живой и здоровый, морду наел во какую! Вместе с ним в Новороссийском поступили в конную армию товарища Буденного, в четырнадцатую дивизию. Принял наш Григорий

Пантелевич сотню, то бишь, эскадрон, я, конечно, при нем состою, и пошли походным порядком под Киев. Ну, девка, и дали мы чертей этим поляжкам! Шли туда, Григорий Пантелевич и говорит: «Немцев рубил, на всяких там австрияках палаш пробовал, неужли у поляков черепки крепше? Сдается мне, их легче будет рубить, чем своих — русских, как ты думаешь?» — и подмигивает мне, оскалывается. Переменился он, как в Красную Армию заступил, веселый из себя стал, гладкий, как мерин. Ну, не обошлось у нас с ним без семейного скандалу... Раз подъехал к нему и говорю шутейно: «Пора бы привалом стать, ваше благородие — товарищ Мелехов!». Ворохнул он на меня глазами, говорит: «Ты мне эти шутки брось, а то плохо будет». Вечером какому-то делу подзывает меня, и дернул же чорт меня опять обозвать его «благородием»... Как схватится он за маузер! Побелел весь, ощерился как волк, а зубов у него полон рот, не меньше сотни. Я — коню под пузо, да ходу от него. За малым не убил, вот какой чертоломный! Ну, пришли мы на эту Украину, пощупали полячишков. Так себе вояки, жидковатые хребтиной. Гордости в них напхато, как в кормленной свинье дерьма, а бегают шибко, когда нажмешь.

— Что ж он, может, в отпуск... — заикнулась было Аксиныя.

— И думать не моги! — отрезал Прохор. — Говорит, буду служить до тех пор, пока прошлые грехи замою. Это он проделает — дурачье дело нехитрое... Возле одного местечка повел он нас в атаку. На моих глазах четырех ихних уланов срубил. Он же, проклятый, левша сызмальства, вот он и доставал их с обеих сторон... После боя сам Буденный перед строем с ним ручкался, и благодарность эскадрону и ему была. Вот он какие котелки выкидывает, твой Пантелевич!

Аксиныя слушала, как в чаду... Она опомнилась только у мелеховской калитки. В сенях Дуняшка цедила молоко, не поднимая головы спросила:

— Ты за накваской? А я пообещала принесть, да и забыла. — Но, заглянув в

мокрые от слез, сияющие счастьем глаза Аксиньи, она поняла все без слов.

Прижавшись к ее плечу пылающим лицом, задыхаясь от радости, Аксинья шептала:

— Живой и здоровый... Поклон прислал... Иди же! Иди, скажи матери!

Глава II

К лету в Татарский возвратилось десятка три казаков из числа ходивших в отступление. В большинстве своем это были старики и служивые старших возрастов, а молодые и средних лет казаки, за вычетом больных и раненых, почти полностью отсутствовали. Часть их была в Красной Армии, остальные — в составе врангелевских полков — отсиживались в Крыму, готовясь к новому походу на Дон.

Добрая половина отступавших навсегда осталась в чужих краях: иные погибли от тифа, другие приняли смерть в последних схватках с противником на Кубани, несколько человек, отбившись от обоза, замерзли в степи за Манычем, двое были захвачены в плен красно-зелеными и пропали без вести... Многих казаков не досчитывались в Татарском. Женщины проводили дни в напряженном и тревожном ожидании, и каждый раз, встречая коров на выгоне, подолгу стояли, вглядываясь из-под ладоней, — не покажется ли на шляху, задернутом лиловой вечерней марью, запоздалый пешеход?

Приходил домой какой-нибудь оборванный, обовшивевший и худой, но долгожданный хозяин, и в хате начиналась радостная, бестолковая суета: грели воду для черного от грязи служивого, дети наперебой старались услужить отцу и караулили каждое его движение, растерявшаяся от счастья хозяйка то кидалась накрывать на стол, то бежала к сундуку, чтобы достать чистую пару мужниного белья. А бельишко, как на грех, оказывалось незаштопаным, а дрожащие пальцы хозяйки никак не могли продеть нитку в игольное ушко... В эту счастливую минуту даже дворовой собаке, которая издали угадала хозяина

и до порога бежала за ним, облизывая ему руки, разрешалось войти в дом; даже за разбитую посуду или пролитое молоко не попадало детям, и любой их проступок сходил безнаказанно... Не успевал хозяин переодеться после купанья, как уже в хату полно набивалось женщин. Приходили узнать о судьбе родных, пугливо и жадно ловили каждое слово служивого. А спустя немного какая-нибудь женщина выходила во двор, прижав ладони к залитому слезами лицу, шла по проулку, как слепая, не разбирая дороги, и вот уж в одном из домишек причитала по мертвому новая вдова, и тонко вторили ей плачущие детские голоса. Так было в Татарском: радость, вступая в один дом, вводила в другой неизбывное горе.

Наутро, помолодевший, чисто выбритый хозяин вставал чуть свет, оглядывал хозяйство, примечал, за что надо взяться сразу. После завтрака он уже принимался за дело. Весело шипел рубанок или постукивал топор где-нибудь под навесом сарая, в холодке, словно возвещая, что появились в этом дворе жадные на работу, умелые, мужские руки. А там, где накануне узнали о смерти отца и мужа, глухая тишина стояла в доме и на подворьи. Молча лежала придавленная горем мать, и около нее теснились, сбиваясь в кучку, повзрослевшие за одну ночь, сироты-дети.

Ильинична, услышав о возвращении кого-либо из хуторных, говорила:

— И когда это наш придет! чужие идут, а про нашего и слуху нет.

— Молодых казаков не спускают, как вы не понимаете, маманя! — с досадой отвечала ей Дуняшка.

— Как это не спускают? А Тихон Герасимов? Он на год моложе Гриши.

— Он же раненый, маманя!

— Какой он там раненый! — возражала Ильинична. — Вчера видала его возле кузницы, ходит, как по струнке. Такие раненые не бьются.

— Был раненый, а зараз на поправке.

— А наш мало был раненый? Все тело его в рубцах, что ж ему и поправка не нужна, по-твоему?

Дуняшка всячески старалась доказать матери, что надеяться на приход Гри-

горя сейчас нельзя, но убедить в чем-либо Ильиничну было делом нелегким.

— Замолчи, дура! — приказывала она Дуняшке. — Я не меньше твоего знаю, и ты ишо молода матерю учить. Говорю — должен прийти, значит придет. Ступай, ступай, я с тобой и речей не хочу терять!

Старуха с величайшим нетерпением ждала сына и вспоминала о нем при всяком случае. Стоило только Мишатке оказать ей неповиновение, как она тотчас грозила: «А вот погоди, анчутка выхрастый, придет отец, докажу ему, так он тебе всыпет!». Завидев на проезжавшей мимо окон арбе свежее вделанные ребра, она вздыхала и непременно говорила: «По справе сразу видно, что хозяин дома, а нашему — как, скажи, кто дорогу домой заказал...». Никогда в жизни Ильинична не любила табачного дыма и всегда выгоняла курцов из кухни, но за последнее время она изменилась и в этом отношении: «Сходи, покликай Прохора, — не раз говорила она Дуняшке, — нехай придет, выкурит цыгарочку, а то уже тут мертвежиной воняет. Вот придет со службы Гриша, тогда у нас жилым, казачьим духом запахнет...». Каждый день, стряпая, она готовила что-нибудь лишнее и после обеда ставила чугунок со щами в печь. На вопрос Дуняшки — зачем она это делает, Ильинична удивленно ответила: «А как же иначе? Может, служивенький наш нынче придет, вот он сразу и поест горяченького, а то пока разогрешь, того да сего, а он голодный, небось...». Однажды, придя с бахчи, Дуняшка увидела висевшую на гвозде в кухне старую поддевку Григория и фуражку с выцветшим околышем. Дуняшка вопросительно взглянула на мать, и та, как-то виновато и жалко улыбаясь, сказала: «Это я, Дуношка, достала из сундука. Войдешь с базу, глянешь, и как-то легче делается... Будто он уже с нами...».

Дуняшке опостытели бесконечные разговоры о Григории. Однажды она не вытерпела, упрекнула мать:

— И как вам, маманя, не надоест все об одном и том же гутарить? Вы уж обрыдли всем с вашими разговорами.

Только от вас и послышишь: Гриша да Гриша...

— Как это мне надоест об родном сыне гутарить? Ты цароди своих, а тогда узнаешь... — тихо ответила Ильинична.

После этого она унесла из кухни к себе в горницу поддевку и фуражку Григория и несколько дней вслух не вспоминала о сыне. Но незадолго до начала лугового покоса она сказала Дуняшке:

— Вот ты серчаешь, как я вспоминаю об Грише, а как же мы будем без него жить? Об этом ты подумала, глупая? Заходит покос, а у нас и грабельника обтесать некому... Вон как у нас все поползло, и ничему мы с тобой рахунки не дадим. Без хозяина и товар плачет...

Дуняшка промолчала. Она отлично понимала, что вопросы хозяйства вовсе не так уж тревожат мать, что все это служит только предлогом поговорить о Григории, отвести душу. Ильинична с новой силой затосковала по сыну и скрыть этого не смогла. Вечером она отказалась от ужина и, когда Дуняшка спросила ее — не захворала ли она? — неохотно ответила:

— Старая я стала... И сердце у меня болит об Грише... Так болит, что ничего мне не мило, и глазам глядеть на свет больно...

Но не Григорию пришлось хозяйствовать на мелеховском базу... Перед луговым покосом в хутор приехал с фронта Мишка Кошевой. Он заночевал у дальних родственников и наутро пришел к Мелеховым. Ильинична стряпала, когда гость, вежливо постучав в дверь и не получив ответа, вошел в кухню, снял старенькую солдатскую фуражку, улыбнулся Ильиничне.

— Здорово, тетка Ильинична! Не ждала?

— Здравствуй. А ты кто такой мне, чтобы я тебя ждала? Нашему забору двоюродный плетень? — грубо ответила Ильинична, негодуя глянув в ненавистное ей лицо Кошевого.

Нимало не смущенный таким приемом Мишка сказал:

— Так уж и плетень... Как-никак знакомые были.

— Только и всего.

— Да больше и не надо, чтобы зайти, проведать. Я не жить к вам пришел.

— Этого бы ишо недоставало, — проговорила Ильинична и, не глядя на гостя, принялась за стряпню.

Не обращая внимания на ее слова, Мишка внимательно рассматривал кухню, говорил:

— Зашел проведать, поглядеть, как вы живете... Не видались-то год с лишним.

— Не дюже по тебе соскучились, — буркнула Ильинична, яростно двигая по загнетке чугуны.

Дуняшка прибирала в горнице и, заслышав мишкин голос, побледнела, безмолвно всплеснула руками. Она вслушивалась в происходивший на кухне разговор, присев на лавку, не шевелясь. На лице Дуняшки то вспыхивала густой румянец, то бледность покрывала щеки так, что на тонкой горбинке носа выступали продольные белые полосы. Она слышала, как твердо прошагал по кухне Мишка, сел на скрипнувший под ним стул, потом чиркнул спичкой. В горницу потянуло папиросным дымком.

— Старик, говорят, помер?

— Помер.

— А Григорий?

Ильинична долго молчала, затем с видимой неохотой ответила:

— В красных служит. Таковую ж звезду на шапку нацепил, как и ты.

— Давно бы надо ему нацепить ее...

— Это — его дело.

В голосе Мишки прозвучала явная тревога, когда он спросил:

— А Евдокия Пантелевна?

— Прибирается. Больно ранний ты гость, добрые-то люди спозаранок не ходят.

— Будешь недобрый. Соскучился, вот и пришел. Чего уж тут время выбирать.

— Ох, Михаил, не гневил бы ты меня...

— Чем же я вас, тетушка, гневаю?

— А тем!

— Все-таки, чем же?

— Вот этими своими разговорами!

Дуняшка слышала, как Мишка тяжело вздохнул. Больше она не смогла вы-

держать: вскочила, оправила юбку, вышла на кухню. Желтый, исхудавший до неузнаваемости, Мишка сидел возле окна, докуривал папиросу. Мутные глаза его оживились, на лице проступил чуть приметный румянец, когда он увидел Дуняшку. Торопливо поднявшись, он хрипло сказал:

— Ну, здравствуй!

— Здравствуй... — чуть слышно ответила Дуняшка.

— Ступай воды принеси, — тотчас приказала Ильинична, мельком взглянув на дочь.

Мишка терпеливо ждал возвращения Дуняшки. Ильинична молчала. Молчал и Мишка, потом затушил в пальцах окурок, спросил:

— Чего вы лютуете на меня, тетушка? Дорогу я вам перешел, или что?

Ильинична повернулась от печки, словно ужаленная.

— Как тебе только совесть позволяет приходить к нам, бесстыжие твои глаза?! — сказала она. — И ты у меня ишо спрашиваешь?! Душегуб ты!..

— Это какой же я душегуб?

— Истинный! Кто Петра убил? Неты?

— Я.

— Ну, вот! Опосля этого кто же ты есть? И ты идешь к нам... садисься, как будто... — Ильинична задыхнулась, смолкла, но оправившись, продолжала: — Мать я ему, или кто? Как же твои глаза на меня глядят?

Мишка заметно побледнел. Он ждал этого разговора. Слегка заикаясь от волнения, он сказал:

— Не с чего моим глазам зажмуряться! А ежели б Петро меня поймал, что бы он сделал? Думаешь, в маковку поцеловал бы? Он бы тоже меня убил. Не для того мы на энтих буграх сходились, чтобы нянькаться один с другим! На то она и война.

— А свата Коршунова? Стариков мирных убивать, это — тоже война?

— А как же? — удивился Мишка. — Конечно, война! Знаю я этих мирных! Такой мирный дома сидит, портки в руках держит, а зла наделает больше, чем иной на позициях... Самое такое, как дед Гришака, и настраивали казаков су-

против нас. Через них и вся эта война зачалась! Кто агитацию пушал против нас? Они, вот эти самые мирные. А ты говоришь — «душегуб»... Тоже, наша душегуба! Я, бывало, ягнок а илa поросенка не могу зарезать, и зараз — знаю, что не зарежу. У меня на эту живность рука не налегает. Другие, бывало, режут — и то я уши заткну и ухожу куда-нибудь подальше, чтобы и не слышать и не видеть.

— А свата...

— Дался вам этот сват! — досадливо перебил Мишка. — От него пользы было, как от козла молока, а вреду много. Говорил ему: выходи из дому, не пошел, ну и лег на том месте. Злой я на них, на этих старых чертей! Животную не могу убить, — может, со зла только, а такую, вы меня извиняйте, пакость, как этот ваш сват или другой какой вражина, — могу сколько угодно! На них, на врагов, какие зря на белом свете живут, у меня рука твердая!

— Через эту твою твердость ты и выдох весь, — язвительно сказала Ильинична. — Совесть, небось, точит...

— Как бы не так! — добродушно улынулся Мишка. — Станет меня совесть точить из-за такого барахла, как этот дед. Меня лихорадка замучила, вытрепала всего начисто, а то бы я их, мамаша...

— Какая я тебе мамаша? — вспыхнула Ильинична. — Сучку кличь мамашей!

— Ну, ты меня не сучи! — глуховато сказал Мишка и зловеще сощурил глаза. — Я подряда не брал всего от тебя терпеть. А говорю тебе, тетка, толком: за Петра не держи на меня сердца. Сам он нашел, чего искал.

— Душегуб ты! Душегуб! Ступай отсюда, зреть я тебя не могу! — настойчиво твердила Ильинична.

Мишка закурил снова, спокойно спросил:

— А Митрий Коршунов, сват ваш, — не душегуб? А Григорий кто? Про сынка-то ты молчишь, а уж он-то душегуб настоящий, без подмеса.

— Не бреши!

— Со вчерашнего дня не брешу. Ну, а кто он, по-твоему? Сколько он наших

загубил, об этом ты знаешь? То-то и оно! Коли такое прозвище ты, тетушка, дашь всем, кто на войне был, тогда все мы душегубы. Все дело в том, за что души губить и какие, — значительно сказал Мишка.

Ильинична промолчала, но видя, что гость и не думает уходить, сурово сказала:

— Хватит! Некогда мне с тобой гуртарить, шел бы ты домой.

— У меня домов, как у зайца теремов, — усмехнулся Мишка и встал.

Чорта с два его можно было отвадить всякими этими штучками и разговорами! Не такой уж он, Мишка, был чувствительный, чтобы обращать внимание на оскорбительные выходки взбесившейся старухи. Он знал, что Дуняшка его любит, а на остальное, в том числе и на старуху, ему было наплевать.

На следующий день утром он снова пришел, поздоровался, как ни в чем не бывало, сел у окна, провожая глазами каждое движение Дуняшки.

— Часто наведываешься, — вскользь бросила Ильинична, не отвечая на мишкино приветствие.

Дуняшка вспыхнула, взглянула на мать загоревшимися глазами и опустила взгляд, не сказав ни слова. Усмеаясь, Мишка ответил:

— Не к тебе хожу, тетка Ильинична, зря ты горишь.

— Лучше б ты вовсе забыл дорогу к нашему куреню.

— А куда же мне итить-то? — посерьезнев, спросил Мишка. — По милости вашего свата Митрия остался я один, как глаз у кривого, а в пустой хате бирюком не просидишь. Хочешь ты или не хочешь, тетушка, а ходить я к вам буду, — закончил он и сел поудобнее, широко расставив ноги.

Ильинична внимательно посмотрела на него. Да, пожалуй, такого не так-то просто выставить. Бычье упорство было во всей сутуловатой мишкиной фигуре, в наклоне головы, в твердо сжатых губах...

После того как он ушел, Ильинична проводила детей во двор, сказала, обращаясь к Дуняшке:

— Чтобы больше и ноги его тут не ступало. Поняла?

Дуняшка, не сморгнув, глянула на мать. Что-то присущее всем Мелеховым на миг появилось в бешеном прищуре ее глаз, когда она, словно откусывая каждое слово, проговорила:

— Нет! Будет ходить! Не закажете! Будет! — И, не выдержав, закрыла лицо передником, выбежала в сени.

Ильинична, тяжело переводя дыхание, присела к окну, долго сидела, молча покачивая головой, устремив невидящий взгляд куда-то далеко в степь, где серебряная под солнцем кромка молодой полыни отделяла землю от неба.

Перед вечером Дуняшка с матерью — не примирившиеся и молчаливые — ставили на огороде у Дона упавший плетень. Подошел Мишка. Он молча взял из рук Дуняшки лопату, сказал:

— Мелко роешь, ветер дунет, и опять упадет ваш плетень. — И стал углублять ямки для стоянов, потом помог поставить плетень, приклячил его к стоянам, и ушел. Утром он принес и поставил возле мелеховского крыльца два только что обструганных грабельника и держак на вилы; поздоровавшись с Ильиничной, деловито спросил:

— Траву в лугу косить думаете? Люди уже поехали за Дон.

Ильинична промолчала. Вместо матери ответила Дуняшка:

— Нам и переехать-то не на чем. Баркас с осени лежит под сараем, рассохся весь.

— Надо бы спустить его весной на воду, — укоризненно сказал Мишка. — Может, его законопатить? Без баркаса вам будет неспособно.

Дуняшка покорно и выжидающе взглянула на мать. Ильинична молча месила тесто и делала вид, будто весь этот разговор ее вовсе не касается.

— Конопи есть у вас? — спросил Мишка, чуть приметно улыбаясь.

Дуняшка пошла в кладовую, принесла охапку конопляных хлопьев.

К обеду Мишка управился с лодкой, зашел в кухню.

— Ну, стянул баркас на воду, нехай замокает. Примкните его к карше, а то как бы кто не угнал. — И снова спро-

сил: — Так как же, тетушка, насчет покоса? Может, пособить вам? Все одно я зараз без дела.

— Вон у нее спроси, — Ильинична кивнула головой в сторону Дуняшки.

— Я у хозяйки спрашиваю.

— Я тут, видно, не хозяйка...

Дуняшка заплакала, ушла в горницу.

— Тогда придется пособить, — крикнув, решительно сказал Мишка. — Где тут у вас плотницкий инструмент? Грабли хочу вам поделать, а то старые, должно, негожи.

Он ушел под сарай и, посвистывая, стал выстругивать зубья на грабли. Маленький Мишатка вертелся около него, умоляюще засматривал в глаза, просил:

— Дяденька Михаил, сделай мне маленькие грабли, а то мне некому сделать. Бабуня не умеет, и тетка не умеет... Один ты умеешь, ты хорошо умеешь!

— Сделаю, тезка, ей-богу, сделаю, только отойди трошки, а то как бы тебе стружка в глаз не попала, — уговаривал его Кошевой, посмеиваясь и с изумлением думая: «Ну, до чего похож, чертенок... Вылитый батя! И глаза, и брови, и верхнюю губу так же подымает... Вот это — работенка!».

Он начал было мастерить крохотные детские граблишки, но закончить не смог: губы его посинели, на желтом лице появилось озлобленное и вместе с тем покорное выражение. Он перестал насвистывать, положил нож и зябко шевельнул плечами.

— Михайло Григорич, тезка, принеси мне какую-нибудь дерюжку, я ляжу, — попросил он.

— А зачем? — поинтересовался Мишатка.

— Захворать хочу.

— На что?

— Эх, до чего ты неотвязный, прямо как репей... Ну, пришло время захворать, вот и все! Неси скорей!

— А грабли мой?

— Потом доделаю.

Крупная дрожь сотрясала мишкино тело. Стуча зубами, он прилег на принесенную Мишаткой дерюгу, снял фуражку и накрыл ею лицо.

— Это ты уже захворал? — огорченно спросил Мишатка.

— Готов, захворал.

— А чего ты дрожишь?

— Лихорадка меня трясет.

— А на что зубами клацаешь?

Мишка из-под фуражки одним глазом взглянул на своего маленького докучливого тезку, коротко улыбнулся и перестал отвечать на его вопросы. Мишатка испуганно посмотрел на него, побежал в курень.

— Бабуня, дядя Михаил лег под сараем и так дрожит, так дрожит, ажник подсигивает!

Ильинична посмотрела в окно, отошла к столу и долго-долго молчала, о чем-то задумавшись...

— Ты чего же молчишь, бабуня, — нетерпеливо спросил Мишатка, теребя ее за рукав кофты.

Ильинична повернулась к нему, твердо сказала:

— Возьми, чадуношка, одеялу и отнеси ему, анчихристу, нехай накроется. Это лихоманка его бьет, болезнь такая. Одеялу ты донесешь? — Она снова подошла к окну, глянула во двор, торопливо сказала: — Пстой, пстой! Не носи, не надо.

Дуняшка накрыла своей овчинной шубой Кошевого и, наклонившись, что-то говорила ему...

После приступа Мишка до сумерок возился с подготовкой к покосу. Он заметно ослабел. Движения его стали вялы и неуверенны, но грабли Мишатке он все же смастерил.

Вечером Ильинична собрала ужинать, усадила за стол детей, — не глядя на Дуняшку, сказала:

— Иди, кличь этого... как его... вечером.

Мишка сел за стол, не перекрестив лба, устало сгорбившись. На желтом лице его, покрытом грязными полосами засохшего пота, отражалось утомление, рука мелко вздрагивала, когда он нес ко рту ложку. Он ел мало и неохотно, изредка равнодушно оглядывая сидевших за столом. Но Ильинична с удивлением заметила, что потухшие глаза «душегуба» теплели и оживлялись, остонавливаясь на маленьком Мишатке,

огоньки восхищения и ласки на миг вспыхивали в них и гасли, а в углах рта еще долго таилась чуть приметная улыбка. Потом он переводил взгляд, и снова на лицо его тенью ложилось тупое равнодушие.

Ильинична стала исподтишка наблюдать за Кошевым и только тогда увидела, как страшно исхудал он за время болезни. Под серой от пыли гимнастеркой резко и выпукло очерчивались полудужья ключиц, выступами горбились острые от худобы углы широких плеч, и странно выглядел заросший рыжеватой щетиной кадык на ребячески тонкой шее... Чем больше всматривалась Ильинична в сутулую фигуру «душегуба», в восковое лицо его, тем сильнее испытывала чувство какого-то внутреннего неудобства, раздвоенности. И вдруг непрощенная жалость к этому ненавистному ей человеку — та щемящая материнская жалость, которая покоряет и сильных женщин, — проснулась в сердце Ильиничны. Не в силах совладать с новым чувством, она подвинула Мишке тарелку, доверху налитую молоком, сказала:

— Ешь ты, ради бога, дюжей! До того ты худой, что и смотреть-то на тебя тошно... Тоже, жених!

Глава III

В хуторе стали поговаривать о Кошевом и Дуняшке. Одна из баб, встретив как-то Дуняшку на пристани, спросила с откровенной издевкой: «Аль наняли Михаила в работники? Что-то он у вас с базу не выводится...».

Ильинична на все уговоры дочери упорно твердила: «Хоть не проси, не отдам тебя за него! Нету вам моего благословения!». И только когда Дуняшка заявила, что уйдет к Кошевому, и тут же стала собирать свои наряды, — Ильинична изменила решение.

— Опамятуйся! — испуганно воскликнула она. — Что ж я одна с детишками буду делать? Пропадать нам?

— Как знаете, маманя, а я посмешищем в хуторе не хочу быть, — тихо проговорила Дуняшка, продолжая вы-

кидывать из сундука девичью свою справку.

Ильинична долго беззвучно шевелила губами, потом, тяжело передвигая ноги, пошла в передний угол.

— Ну, что ж, дочушка... — прошептала она, снимая икону, — раз уж ты так надумала, господь с тобой, иди...

Дуняшка проворно опустилась на колени. Ильинична благословила ее, сказала дрогнувшим голосом:

— Этой иконой меня покойница мать благословляла... Ох, поглядел бы на тебя зараз отец... Помнишь, что говорил он о твоём суженом? Видит бог, как тяжело мне... — и, молча повернувшись, вышла в сени.

Как ни старался Мишка, как ни уговаривал невесту отказаться от венчания, — упрямая девка стояла на своем. Пришлось Мишке, скрепя сердце, согласиться. Мысленно проклиная все на свете, он готовился к венчанию так, как будто собирался итти на казнь. Ночью поп Виссарион потихоньку окрутил их в пустой церкви. После обряда он поздравил молодых, назидательно сказал:

— Вот, молодой советский товарищ, как бывает в жизни: в прошлом году вы собственноручно сожгли мой дом, так сказать предали его огню, а сегодня мне пришлось вас венчать... Не плюй, говорят, в колодезь, ибо он может пригодиться. Но все же я рад, душевно рад, что вы опомнились и обрели дорогу к церкви христовой.

Этого уже вынести Мишка не смог. Он молчал в церкви все время, стыдясь своей бесхарактерности и негодую на себя, но тут яростно скосился на злопаметного попа, шопотом, чтобы не слышала Дуняшка, ответил:

— Жалко, что убег ты тогда из хутора, а то бы я тебя, чорт долгогривый, вместе с домом спалил! Понятно тебе, ну?

Ошалевший от неожиданности поп, часто моргая, уставился на Мишку, а тот дернул свою молодую жену за рукав, строго сказал: «Пойдем!» — и, громко топая армейскими сапогами, пошел к выходу.

На этой невеселой свадьбе не пили самогонки, не орала песен. Прохор Зы-

ков, бывший на свадьбе за дружка, на другой день долго отплеывался и жаловался Аксинье:

— Ну, девка, и свадьба была! Михаил в церкви что-то такое ляпнул попу, что у старика и рот набок повело! А за ужином, видала, что было? Жареная курятина да кислое молоко... Хотя бы капелюжку самогонки выставили черти! Поглядел бы Григорий Пантелевич, как сеструшку его просватали... За голову взялся бы! Нет, девка, шабаш! Я теперича на эти новые свадьбы не ходок. На собачьей свадьбе и то веселей, там хоть шерсть кобели один на одном рвут, шуму много, а тут ни выпивки, ни драки, будь они, анафемы, прокляты! Верись, до того расстроился опоясая этой свадьбы, что всю ночь не спал, лежал, чухался, как, скажи, мне пригоршню блох под рубаху напустили...

Со дня, когда Кошевой водворился в мелеховском курене, все в хозяйстве пошло по-иному: за короткий срок он opravил изгородь, перевез и сложил на гумне степное сено, искусно завершив обчесанный стог; готовясь к уборке хлеба, заново переделал полки и крылья на лобогрейке, тщательно расчистил ток, отремонтировал старенькую веляку и починил конскую упряжь, так как втайне мечтал променять пару быков на лошадь и не раз говорил Дуняшке: «Надо нам обзаводиться лошадей. Оплаканная езда на этих клешнятых апостолах». В кладовой он как-то случайно обнаружил ведро белил и ультрамарин и тотчас же решил покрасить серые от ветхости ставни. Мелеховский курень словно помолодел, глянув на мир ярко-голубыми глазницами окон...

Ретивым хозяином оказался Мишка. Несмотря на болезнь, он работал, не покладая рук. В любом деле ему помогла Дуняшка.

За недолгие дни замужней жизни она заметно похорошела и, как будто, раздалась в плечах и бедрах. Что-то новое появилось в выражении ее глаз, в походке, даже в манере поправлять волосы. Исчезли ранее свойственные ей неловкая угловатость движений, ребяческая размашистость и живость. Улыбающаяся и притихшая, она смотрела на

мужа влюбленными глазами и не видела ничего вокруг. Молодое счастье всегда незряче...

А Ильинична с каждым днем все рече и сильнее ощущала подступавшее к ней одиночество. Она стала лишней в доме, в котором прожила почти всю свою жизнь. Дуняшка с мужем работали так, словно на пустом месте создавали собственное гнездо. С ней они ни о чем не советовались и не спрашивали ее согласия, когда предпринимали что-либо по хозяйству; как-то не находилось у них и ласкового слова к старухе. Только садясь за стол, они перебрасывались с ней несколькими незначащими фразами, и снова Ильинична оставалась одна со своими невеселыми мыслями. Ее не радовало счастье дочери, присутствие чужого человека в доме — а зять попрежнему оставался для нее чужим — тяготило. Сама жизнь стала ей в тягость. За один год потеряв столько близких ее сердцу людей, она жила, надломленная страданием, постаревшая и жалкая. Много пришлось испытать ей горя, пожалуй даже слишком много. Она была уже не в силах сопротивляться ему и жила, исполненная суеверного предчувствия, что смерть, так часто повадившаяся навещать их семью, еще не раз переступит порог старого мелеховского дома. Примирившись с замужеством Дуняшки, Ильинична хотела лишь одного: дожидаться Григория, передать ему детей, а потом навсегда закрыть глаза. За свою долгую и трудную жизнь она выстрадала это право на отдых.

Нескончаемо тянулись длинные летние дни. Жарко светило солнце. Но Ильиничну уже не согревали колючие солнечные лучи. Она подолгу сидела на крыльце, на самом припеке, неподвижная и безучастная ко всему окружающему. Это была уже не прежняя хлопотливая и рачительная хозяйка. Ей ничего не хотелось делать. Все это было ни к чему и казалось теперь ненужным и нестоящим, да и сил нехватало, чтобы трудиться, как в былые дни. Часто она рассматривала свои раздавленные многолетней работой руки, мысленно говорила: «Вот уж и отработались мои

ручущки... Пора на покой... Зажилась я, хватит... Только бы дождаться Гришеньку...».

Лишь однажды к Ильиничне вернулась, и то ненадолго, прежняя жизнерадостность. По пути из станицы зашел Прохор, еще издали крикнул:

— Могарыч станови, бабка Ильинична! Письмо от сына доставил!

Старуха побледнела. Письмо в ее представлении неизбежно связывалось с новым несчастьем. Но когда Прохор прочитал коротенькое письмо, наполювину состоявшее из поклонов родным и лишь в конце содержавшее приписку о том, что он, Григорий, постарается к осени притти на побывку, — Ильинична долго ничего не могла сказать от радости. По коричневому лицу ее, по глубоким морщинам на щеках катились мелкие, как бисер, слезинки. Понурился голове, она вытирала их рукавом кофты, шершавой ладонью, а они всё сбегали по лицу и, капая на завеску, пестрили ее, словно частый и теплый дождь. Прохор не то что недолюбливал, — он прямо-таки не переносил женских слез, поэтому-то он, морщась с нескрываемой досадой, сказал:

— Эх тебя развезло, бабушка! Сколь много у вашего брата, у баб, этой мокрости... Радоваться надо, а не кричать. Ну, пошел я, прощевай! Приятности мне мало на тебя глядеть.

Ильинична спохватилась, остановила его.

— За такую-то весточку, милушка ты мой... Как же это я так... Постой-ка, угощу тебя... — бессвязно бормотала она, доставая из сундука хранившуюся с давнишних пор бутылку самогона.

Прохор присел, разгладил усы.

— Ты-то выпьешь со мной на радостях? — спросил он. И тотчас же с тревогой подумал: «Ну, вот и опять дернул меня чорт за язык! Как-раз ишо влипнет в часть, а там этой самогонки на одну понюшку...».

Ильинична отказалась. Она бережно свернула письмо, положила его на божницу, но, видно, передумав, снова взяла, подержала в руках и сунула за пазуху, крепко прижала к сердцу.

Дуняшка, вернувшись с поля, долго читала письмо, потом улыбнулась, вздохнула:

— Ох, хотя бы он поскорей пришел! А то вы, маманя, и на себя непохожи стали.

Ильинична ревниво отобрала у нее письмо, опять спрятала его за пазуху и, улыбаясь, глядя на дочь прижмуренными лучистыми глазами, сказала:

— Обо мне и собаки не брешут, уж какая есть, а вот младшенький-то вспомнил про матерю! Как он пишет-то! По отчеству, Ильиничной, повеличал... Низко кланяюсь, пишет, дорогой мамаше и еще дорогим деткам, и про тебя не забыл... Ну, чего смеешься-то? Дура ты, Дуняшка, чистая дура!

— Так уж, маманя, и улыбнуться мне нельзя! Куда это вы собираетесь?

— На огород пойду, подобью картошку.

— Я сама завтра схожу, сидели бы дома. То вы жалуетесь, что хвораете, а то и дела враз нашли.

— Нет, я пойду... Радость у меня, хочу одна побыть, — призналась Ильинична и по-молодому, проворно покрылась платком.

По пути на огород она зашла к Аксинье, сначала для приличия поговорила о посторонних делах, а потом достала письмо.

— Прислал письмецо наш, порадовал матерю, сулитса на побывку прийти. На-кось, соседушка, почитай, и я ишо разок послушаю.

С той поры Аксинье часто приходилось читать это письмо. Ильинична приходила к ней по вечерам, доставала тщательно завернутый в платочек желтый конверт, вздыхая просила:

— Почитай-ка, Аксиньюшка, что-то мне нынче так темно на сердце, и во сне его видела маленьким, таким, как он ишо в школу ходил...

Со временем буквы, написанные чернильным карандашом, слились, и многих слов вовсе нельзя было разобрать, но для Аксиньи это не составляло затруднения: она так часто читала письмо, что заучила его наизусть. И после, когда тонкая бумага уже превратилась в лохмотья, Аксинья без запинки рас-

сказывала все письмо до последней строчки.

Недели две спустя Ильинична почувствовала себя плохо. Дуняшка была занята на молотбе, и отрывать ее от работы Ильинична не хотела, но сама стряпать не могла.

— Не встану я нынче. Уж ты как-нибудь одна управляйся, — попросила она дочь.

— А что у вас болит, маманя?

Ильинична разгладила сборки на своей старенькой кофте, — не поднимая глаз, отвѣтила:

— Все болит... Кубыть, все у меня в середке отбитое. Смолоду, бывало, покойничек отец твой разгневается и зачнет меня бить... А кулачья-то у него были железные... По неделе лежала за-мертво. Вот так и зараз: все у меня ломит, будто избитая я...

— Может, за фельдшером послать Михаила?

— На что он нужен, как-нибудь встану.

Ильинична на другой день, действительно, поднялась, походила по двору, но к вечеру снова слегла. Лицо ее слегка припухло, под глазами появились отечные мешки. За ночь она несколько раз, опираясь на руки, приподнимала голову с высоко взбитых подушек, часто дышала — ей нехватало дыхания. Потом удушье прошло. Она могла спокойно лежать на спине и даже вставать с постели. Несколько дней провела в состоянии какой-то тихой отрешенности и покоя. Ей хотелось быть одной и, когда приходила проведать ее Аксинья, она скупно отвечала на вопросы и облегченно вздыхала, когда та уходила. Она радовалась, что детишки большую часть дня проводят во дворе и что Дуняшка редко заходит и не тревожит ее всякими вопросами. Она уже не нуждалась ни в чем сочувствии и утешении. Пришла такая пора, когда властно потребовалось остаться одной, чтобы вспомнить многое из своей жизни. И она, полузакрыв глаза, часами лежала не шевелясь, только припухшие пальцы ее перебирали складки одеяла, и вся жизнь проходила перед ней за эти часы.

Удивительно, как коротка и бедна оказалась эта жизнь и как много в ней было тяжелого и горестного, о чем не хотелось вспоминать. Почему-то чаще всего в воспоминаниях, в мыслях обращалась она к Григорию. Быть может, потому, что тревога за его судьбу не покидала ее все годы с начала войны и все, что связывало теперь ее с жизнью, заключалось только в нем. Или же тоска по старшему сыну и мужу притупилась, выветрилась со временем, но о них, о мертвых, она вспоминала реже, и виделись они ей как бы сквозь серую туманную дымку. Она неохотно вспоминала молодость, замужнюю свою жизнь. Все это было просто не нужно, ушло так далеко и не приносило ни радости, ни облегчения. И, возвращаясь к прошлому в последних воспоминаниях, она оставалась строгой и чистой. А вот «младшенький» вставал в памяти с предельной, почти осязательной яркостью. Но стоило ей подумать о нем, как сейчас же она начинала слышать свое учащенное сердцебиение. Потом подступало удушье, лицо ее чернело, и она подолгу лежала в беспомысленности, но, отдышавшись, снова думала о нем. Не могла же она забыть своего последнего сына...

Однажды Ильинична лежала в горнице. За окном сияло полуденное солнце. На южной окраине неба в ослепительной синеве величественно плыли белые вздыбленные ветром облака. Глухую тишину нарушал лишь монотонный, усыпляющий звон кузнечиков. Снаружи под самым окном сохранилась не выжженная солнцем, прижавшаяся к фундаменту трава — полуувядшая лебеда вперемежку с овсягом и пыреем, — в ней-то, найдя себе приют, и заливались кузнечики. Ильинична прислушалась к их неумолчному звону, уловила проникший в горницу запах нагретой солнцем травы, и перед глазами ее на миг, как видение, возникла опаленная солнцем августовская степь, золотистая пшеничная стерня, задернутое сизой мглой жгуче синее небо.

Она отчетливо видела быков, пасущихся на полынистой меже, арбу с раскинутым над ней пологом, слышала

трескучий звон кузнечиков, вдыхала приторно горький запах полыни... Она увидела и себя — молодую, рослую, красивую... Вот она идет, спешит к стапу. Под ногами ее шуршит, покалывает голые икры стерня, горячий ветер сушит на спине мокрую от пота, вобранную в юбку рубаху, обжигает шею. Лицо ее полыхает румянцем, от прилива крови тонко звенит в ушах. Она придерживает согнутой рукою тяжелые, тугие, налитые молоком груди и, заслышав захлебывающийся детский плач, прибавляет шагу, на ходу расстегивает ворот рубахи.

Обветренные губы ее дрожат и улыбаются, когда она достает из подвешенной к арбе люльки крохотного смуглого Гришатку. Придерживая зубами мокрый от пота гайтан нательного крестика, она торопливо дает ему грудь, сквозь стиснутые зубы шепчет: «Милый ты мой, сыночек! Расхорош ты мой! Уморила тебя с голоду мать...». Гришатка, все еще обиженно всхлипывая, сосет и больно прихватывает зубенками сосок. А рядом стоит, отбивает косу молодой, черноусый Гришаткин отец. Из-под опущенных ресниц она видит его улыбку и голубые белки усмешливых глаз... Ей трудно дышать от жары, пот стекает со лба и щекочет щеки, и меркнет, меркнет свет перед глазами...

Она очнулась, провела рукой по мокрому от слез лицу и после долго лежала, мучаясь от жесточайшего приступа удушья, временами впадая в беспомысленность.

С вечера, когда Дуняшка с мужем уснули, она собрала последние остатки сил, встала, вышла во двор. Аксинья, допоздна разыскивавшая пропавшую из табуна корову, возвращалась домой и видела, как Ильинична, медленно ступая, покачиваясь, прошла на гумно. «Зачем это она, хворая, туда пошла?» — удивилась Аксинья и, осторожно пройдя к граничившему с мелеховским гумном плетню, заглянула на гумно. Светил полный месяц. Со стели набегал ветерок. От прикладка соломы на голый, выбитый каменными катками, ток дожилась густая тень. Ильинична стояла, придерживаясь руками за из-

городь, смотрела в степь, туда, где словно недоступная далекая звездочка мерцал разложенный косарями костер. Аксинья ясно видела озаренное голубым лунным светом припухшее лицо Ильиничны, седую прядь волос, выбившуюся из-под черной старушечьей шальки.

Ильинична долго смотрела в сумеречную степную синь, а потом негромко, как будто он стоял тут же возле нее, позвала:

— Гришенька! Родненький мой! — Помолчала, и уже другим, низким и глухим голосом сказала: — Кровинушка моя!

Аксинья вся содрогнулась, охваченная неизъяснимым чувством тоски и страха, и, резко отшатнувшись от плетня, пошла к дому.

В эту ночь Ильинична поняла, что скоро умрет, что смерть уже подошла к ее изголовью. На рассвете она достала из сундука рубаху Григория, свернула и положила под подушку; приготовила и свое, смертное, во что ее должны были обрядить после последнего вздоха.

Утром Дуняшка, как всегда, зашла проведать мать. Ильинична достала из-под подушки аккуратно свернутую рубаху Григория, молча протянула ее Дуняшке.

— Что это? — удивленно спросила Дуняшка.

— Гришина рубаха... Отдай мужу, нехай носит, на нем его старая-то, небось, сопрела от пота... — чуть слышно проговорила Ильинична.

Дуняшка увидела лежавшие на сундуке черную материну юбку, рубаху и матерчатые чирики, — все, что надевают на покойников, провожая их в дальний путь, — увидела и побледнела.

— Что это вы, маманюшка, смертное приготовили? Приберите его, ради Христа! Господь с вами, рано вам об смерти думать.

— Нет, пора мне... — прошептала Ильинична.—Мой черед... Детишек береги, соблюдай, пока Гриша возвратится... А я уж его, видно, не дождуся... Ох, не дождуся!..

Чтобы Дуняшка не видела ее слез, Ильинична отвернулась к стене и закрыла лицо платком.

Через три дня она умерла. Сверстницы Ильиничны обмыли ее тело, обрядили в смертное, положили на стол в горнице. Вечером Аксинья пришла попрощаться с покойной. Она с трудом узнала в похорошевшем и строгом лице мертвой маленькой старушки облик прежней гордой и мужественной Ильиничны. Прикоснувшись губами к желтому, холодному лбу покойной, Аксинья заметила знакомую ей, непокорную, выбившуюся из-под беленького головного платочка седую прядь волос и крохотную круглую, совсем как у молодой, раковинку уха.

С согласия Дуняшки Аксинья увела детей к себе. Она накормила их — молчаливых и напуганных новой смертью, — уложила спать с собой. Странное чувство испытывала она, обнимая прижавшихся к ней с обеих сторон, притихших детишек родного ей человека. Впополоса она стала рассказывать им слышанные в детстве сказки, чтобы хоть чем-нибудь развлечь их, увести от мыслей о мертвой бабушке. Тихо, нараспев досказывала она сказку о бедном сиротке Ванюшке:

Гуси-лебеди,
Возьмите меня
На белы крылышки,
Унесите меня
На родимую
На сторонушку...

И не успела закончить сказку, как услышала ровное, мерное дыханье детишек. Мишатка лежал с краю, плотно прижавшись лицом к ее плечу. Аксинья движением плеча осторожно поправила его запрокинувшуюся головку и вдруг ощутила на сердце такую безжалостную, режущую тоску, что горло ее перехватила спазма. Она заплакала тяжело и горько, вздрагивая от сотрясавших ее рыданий, но она даже не могла вытереть слез: на руках ее спали дети Григория, а ей не хотелось их будить.

Глава IV

После смерти Ильиничны Кошевой, оставшийся в доме единственным и полновластным хозяином, казалось бы, должен был еще с большим усердием

взяться за переустройство хозяйства, за дальнейшее его расширение, но на деле вышло не так: с каждым днем Мишка работал все менее охотно, все чаще уходил из дому, а вечерами допоздна сидел на крыльце, курил, размышлял о чем-то своем. Дуняшка не могла не заметить происходившей с мужем перемены. Она не раз с удивлением наблюдала, как Мишка, ранее трудившийся с полным самозабвением, вдруг ни с того, ни с сего бросал топор или рубанок и садился где-либо в сторонке отдыхать. То же самое было и в поле, когда сеяли озимую рожь: пройдет Мишка два гона, остановит быков, свернет цыгарку и долго сидит на пашне, покуривает, морщит лоб.

Унаследовавшая от отца практическую сметку, Дуняшка с тревогой думала: «Ненадолго его хватило... Либо хворает, либо просто приленится. Беды я наберусь с таким муженьком! Как, скажи, он у чужих людей живет: полдня курит, полдня чухается, а работать некогда... Надо с ним потолковать потихоньку, чтобы не осерчал, а то, ежели он будет и дальше так стараться в хозяйстве, нужду из дома и лопатой не выребешь...».

Однажды Дуняшка осторожно спросила:

— Что-то ты не такой стал, Миша, аль хворость тебя одолевает?

— Какая там хворость! Тут без хворости тошно, — с досадой ответил Мишка и тронул быков, пошел за сеялкой.

Дуняшка сочла неудобным продолжать расспросы; в конце-концов не бабье это дело — учить мужа. На том разговор и кончился.

Дуняшка ошибалась в своих догадках. Единственной причиной, мешавшей Мишке работать с прежним старанием, было росшее в нем с каждым днем убеждение, что преждевременно осел он в родном хуторе: «Рановато я взялся за хозяйство, поспешил...» — с досадой думал Мишка, читая в окружной газете сводки с фронтов или слушая по вечерам рассказы демобилизованных казаков-красноармейцев. Но особенно тревожило его настроение хуторян: некото-

рые из них открыто говорили, что советской власти к зиме будет конец, что Врангель вышел из Таврии и вместе с Махно подходит уже к Ростову, что союзники высадили в Новороссийске огромный десант... Служи, один нелепей другого, распространялись по хутору. Казаки, вернувшиеся из концентрационных лагерей и рудников, успевшие за лето отгесться на домашних харчах, держались особняком, по ночам пили самогон, вели какие-то свои разговоры, а встречаясь с Мишкой, с деланным равнодушием спрашивали: «Ты газетки прочитываешь, Кошевой, расскажи, как там Врангеля, скоро прикончат? И верно это или брехня, что союзники опять на нас прут?».

Как-то под воскресенье вечером пришел Прохор Зыков. Мишка только-что вернулся с поля, умылся, стоя возле крыльца. Дуняшка лила ему воду из кувшина на руки, с улыбкой смотрела на худую загорелую шею мужа. Прохор, поздоровавшись, сел на нижней ступеньке крыльца, спросил:

— Про Григория Пантелевича ничего не слышать?

— Нет, — ответила Дуняшка, — не пишет.

— А ты по нем соскучился? — Мишка вытер лицо и руки, без улыбки глянул в глаза Прохора.

Прохор вздохнул, поправил порожний рукав рубахи.

— Само собой. Вместе всю службу сломали.

— И сызнова думаете доламывать?

— Чего это?

— Ну, службу.

— Мы с ним свое отслужили.

— А я думал, что ты его ждешь-не дождешься опять служить, — все так же без улыбки продолжал Мишка. — Опять воевать против советской власти...

— Ну, это ты зря, Михаил, — обиженно проговорил Прохор.

— Чего же зря? Слышу я про всякие разговорчики, какие по хутору ходят.

— Либо я говорил такое? Где это ты слышал?

— Не ты, а такие вот, вроде тебя с Григорием, какие всё «своих» ждут.

— Я этих «своих» не жду, мне все одинаковые.

— Вот это и плохо, что тебе все одинаковые. Пойдем в хату, не обижайся, это я шутейно говорил.

Прохор неохотно поднялся по крыльцу и, переступив порог сеней, сказал:

— Шутки твои, браток, не дюже веселье... Об старом, забывать надо. Я за это старое оправдался.

— Старое не все забывается, — сухо сказал Мишка, садясь за стол. — Присаживайся вечерять с нами.

— Спасибо. Конечно, не все забывается. Вот руки я лишился—и рад бы забыть, да оно не забывается, каждый секунд об этом помнишь.

Дуняшка, накрывая на стол и не глядя на мужа, спросила:

— Что же, по-твоему, кто в белых был, так им и сроду не простится это?

— А ты как думала?

— А я так думала, что кто старое вспомянет, тому, говорят, глаз вон.

— Ну, это, может, так по евангелию гласит, — холодно сказал Мишка. — А по-моему, должен человек всегда отвечать за свои дела.

— Власть про это ничего не говорит, — тихо сказала Дуняшка.

Ей не хотелось вступать в пререкания с мужем при постороннем человеке, но в душе она была обижена на Михаила за его, как казалось ей, неуместную шутку с Прохором и за ту неприязнь, которую он открыто выказал к брату.

— Тебе она, власть, ничего не говорит, ей с тобой не об чем разговаривать, а за службу в белых надо отвечать перед советским законом.

— И мне, стал-быть, отвечать? — поинтересовался Прохор.

— Твое дело телячье: поел да в закут. С денщиков тут не спрашивают, а вот Григорию придется, когда зайвится домой. Мы у него спросим за восстание.

— Ты, что ли, будешь спрашивать? — Дуняшка, сверкнув глазами, поставила на стол чашку с молоком.

— И я спрошу, — спокойно ответил Мишка.

— Не твое это дело... Без тебя найдутся спрашивальщики. Он в Красной Армии заслужил себе прощение...

Голос Дуняшки вздрагивал. Она села к столу, перебирая пальцами оборки завески. Мишка, словно он и не заметил волнения, охватившего жену, — с тем же спокойствием продолжал:

— Мне тоже интересно спросить. А насчет прощения погодить надо... Надо ишо разглядеть, как он его заслужил. Нашей крови он пролил немало. Ишо примерить надо, чья кровь переважит...

Это был первый разлад за все время их совместной жизни с Дуняшкой. В кухне стояла неловкая тишина. Мишка молча ел молоко, изредка вытирая рушником губы. Прохор курил, посматривал на Дуняшку. Потом он заговорил о хозяйстве. Посидел еще с полчаса. Перед уходом спросил:

— Кирилл Громов пришел. Слышал?

— Нет. Откуда он явился?

— Из красных. Тоже в Первой Конной был.

— Это он у Мамонтова служил?

— Он самый.

— Лихой вояка был, — усмехнулся Мишка.

— Куда там! По грабежу первый был. Легкая у него рука на это.

— Рассказывали про него, будто он пленных рубил без милости. За ботинки солдатские убивал. Убьет — одними ботинками попользуется.

— Был такой слух, — подтвердил Прохор.

— Его тоже надо прощать? — вкрадчиво спросил Мишка. — Бог, дескать, прощал врагов и нам велел, или как?

— Да ить как сказать... А что ты с него возьмешь?

— Ну, я бы взял... — Мишка прищурил глаза. — Я бы так с него взял, что он опосля этого и дух выпустил! Да он от этого не уйдет. В Вешках Дончика есть, она его приголубит.

Прохор улыбнулся, сказал:

— Вот уж истинно, что горбатого могила выпрямит. Он и из Красной Армии пришел с грабленным добром. Моей бабе его жененка похвалялась.

что какую-то пальто женскую ей принес, сколько там платьев, и разного другого добра. Он в бригаде Маслака был и оттуда подался домой. Не иначе он дежиком заявился, оружие с собой принес.

— Какое оружие? — заинтересовался Мишка.

— Понятно какое: укороченную карабинку, ну, наган, может ишо что-нибудь.

— В Совет он ходил регистрироваться, не знаешь?

Проخور рассмеялся, махнул рукой:

— Его туда и на аркане не заглянешь! Я так гляжу, что он в бегах. Он не нынче-завтра из дому смотается. Вот Кирилл, по всему видать, ишо думает всевать, а ты на меня грешил. Нет, братск, я свое отвоевал, наелся этого добра по самую завязку.

Проخور вскоре ушел. Спустия немного вышел во двор и Мишка, Дуняшка покормила детей и только-что собралась лечь, как вошел Мишка. В руках он держал что-то завернутое в мешковину.

— Куда тебя черти носили? — неласково спросила Дуняшка.

— Свое приданое доставал, — беззлобно улыбнулся Мишка.

Он развернул заботливо упакованную винтовку, распухший от патронов подсумок, наган и две ручные гранаты. Все это сложил на лавку и осторожно нацедил в блюдце керосину.

— Откуда это? — Дуняшка движением бровей указала на оружие.

— Мое, с фронта.

— А где ж ты его хоронил?

— Где бы ни хоронил, а вот соблюл в целости.

— Вон ты, оказывается, какой потаенный... И не сказал ничего. От жены, и то хоронишься?

Мишка, с деланной беззаботностью улыбаясь и явно заискивая, сказал:

— И на что это тебе было знать, Дуняшка? Это дело не бабье. Нехай оно — это имение — лежит, оно, девка, в доме нелишнее.

— А к чему ты его в хату приволок? Ты же законником стал, все знаешь... А за это тебе не придется по закону отвечать?

Мишка посуровел с виду, сказал:

— Ты дура! Когда Кирюшка Громов оружие приносит — это советской власти вред, а когда я приношу — окромя пользы советской власти от этого ничего не будет. Понимаешь ты? Перед кем же я могу быть в ответе? Болтаешь ты бог знает что, ложись, спи!

Он сделал единственно правильный, по его мнению, вывод: если уж белые недобитки приходят с оружием, то ему надо быть настороже. Он тщательно прочистил винтовку и наган, а наутро, чуть свет, пешком отправился в Вешенскую.

Дуняшка, укладывая ему харчи в подсумок, с досадой и горечью воскликнула:

— Ты все со мной в молчанку играешь! Скажи хоть, надолго ли идешь и по какому делу? Что это за чорт, за жизнь! Собрался зтти, и слова от него не добьешься!.. Муж ты мне или пришей-пристебай?

— Иду в Вешки, на комиссию, чего я тебе ишо скажу? Вернусь, тогда все узнаешь.

Придерживая рукой подсумок, Мишка спустился к Дону, сел в баркас и ходко погнался на ту сторону.

★

В Вешенской после осмотра на врачебной комиссии доктор коротко сказал Мишке:

— Не годитесь вы, дорогой товарищ, для службы в рядах Красной Армии. Очень вас малярия истрепала. Лечиться надо, а то будет плохо. Такие Красной Армии не нужны.

— А какие же ей нужны? Два года служил, а теперь не нужен стал?

— Нужны, прежде всего, здоровые люди. Станете здоровым — и вы понадобитесь. Возьмите рецепт, в аптеке получите хинин.

— Та-а-ак, все понятно. — Кошевой надевал гимнастерку, словно хомут на норовистую лошадь, все никак не мог просунуть голову в воротник, штаны застегнул уже на улице и напрямик направился в Окружной комитет партии.

... Вернулся в Татарский Мишка председателем хуторского ревкома. Накоро поздоровавшись с женой, сказал:

— Ну, теперь поглядим!

— Ты об чем это? — удивленно спросила Дуняшка.

— Все об том же.

— Об чем?

— Председателем меня назначили. Понятно?

Дуняшка горестно всплеснула руками. Она хотела что-то сказать, но Мишка не стал ее слушать, он оправил перед зеркалом ремень на вылинявшей защитной гимнастерке и зашагал в Совет.

Председателем ревкома с самой зимы был старик Михеев. Подслеповатый и глухой, он тяготился своими обязанностями и с превеликой радостью узнал от Кошевого о том, что пришла ему смена.

— Вот бумажки, соколик ты мой, вот хуторская печать, бери их, ради Христа, — говорил он с непритворной радостью, крестясь и потирая руки. Восьмой десяток мне, сроду в должностях не ходил, а тут вот на старости годов пришлось... Это самое ваше молодое дело, а мне где уж там! И недоложу, и недослышу... Богу молиться пора, а меня председателем назначили...

Мишка бегло просмотрел предписания и приказы, присланные станичным ревкомом, спросил:

— Секретарь где?

— Ась?

— Э, чорт, секретарь где, говорю?

— Секельтарь? Житу сеет. Он, пострели его гром, в неделю раз сюда заходит. Иной раз из станицы придет бумага, какую надо почитать, а его и с собаками не сыщешь. Так и лежит важная бумага по скольку дней не читанная. А из меня грамотей плохой, ох, плохой! Со трудом расписываюсь, а читать вовсе не могу, только и могу, что печать становить...

Сдвинув брови, Кошевой рассматривал ошарпанную комнату ревкома, украшенную одним стареньким, засиженным мухами плакатом.

Старик до того обрадовался неожиданному увольнению, что даже отва-

жился на шутку: передавая Кошевому завернутую в тряпицу печать, сказал:

— Вот и все хуторское хозяйство, денежных суммов нету, а насеки атаманской при советской власти иметь не полагается. Коли хочешь — свой стариковский костыль могу отдать. — И протянул, беззубо улыбаясь, отполированную ладонями ясеневую палку.

Но Кошевой не был расположен к шуткам. Еще раз он оглядел жалкую в своей неприглядности комнату ревкома, нахмурился и со вздохом сказал:

— Будем считать, дед, что дела от тебя я принял. Теперь катись отседова к едреной бабушке. — И выразительно показал глазами на дверь.

А потом сел за стол, широко расставил локти и долго сидел в одиночестве, стиснув зубы, выставив вперед нижнюю челюсть. Боже мой, каким же сукиным сыном был он все это время, когда рылся в земле, не поднимая головы и по-настоящему не вслушиваясь в то, что творилось кругом... Злой донельзя на себя и на все окружающее, Мишка встал из-за стола, оправил гимнастерку, сказал, глядя в пространство, не разжимая зубов:

— Я вам, голуби, покажу, что такое советская власть!

Дверь он плотно прикрыл, накинув цепку на пробой, зашагал через площадку к дому. Около церкви встретил молодого парнишку Обнизова, небрежно кивнул ему головой, прошел мимо и, вдруг озаренный догадкой, повернулся, окликнул:

— Эй, Андрюшка! Постой-ка, пойдись сюда!

Белобрысый застенчивый паренек молча подошел к нему. Мишка, как взрослому, протянул ему руку, спросил:

— Ты куда направлялся? На энтот край? Ну-ну, гуляешь, значит? По делу? Вот что я у тебя хочу спросить, ты, вроде, в высшем начальном учился? Учился? Это хорошо. А канцелярיותы знаешь?

— Какую?

— Ну, обыкновенную. Разные там уходящие-выходящие знаешь?

— Ты про что говоришь, товарищ Кошевой?

— Ну, про бумажки, какие бывают. Ты это знаешь? Ну, бывают уходящие, а бывают всякие другие. — Мишка непременно пошевелил пальцами и, не дожидаясь ответа, твердо сказал: — Ежли не знаешь, потом выучишься. Я зараз председатель хуторского ревкома, а тебя — как грамотного парнишку — назначаю секретарем. Иди в помещение ревкома и карауль там дела, они все на столе лежат, а я вскорости вернусь. Понятно?

— Товарищ Кошевой!

Мишка махнул рукой, нетерпеливо сказал:

— Это потом мы с тобой потолкуем, иди, занимай должность. — И медленно, размеренным шагом пошел по улице.

Дома он надел новые шаровары, сунул в карман наган и, тщательно поправляя перед зеркалом фуражку, сказал жене:

— Схожу тут в одно место по делу. Ежли кто будет спрашивать, где, мол, председатель, — скажи, что скоро возвратится.

Должность председателя кое к чему обязывала... Мишка шел медленно и важно; походка его была столь необычна, что кое-кто из хуторных при встрече останавливался и с улыбкой смотрел ему вслед. Прохор Зыков, повстречавшийся ему в переулке, с шутливой почтительностью попятился к плетню, спросил:

— Да ты что это, Михаил? В будний день во все доброе вырядился и выступаешь, как на параде... Уж не сызнова ли свататься идешь?

— Вроде этого, — ответил Мишка, значительно сжав губы.

Около ворот промовского база он, не останавливаясь, полез в карман за кisetом, зорко оглядел широкое подворье, разбросанные по нему дворовые постройки, окна куреня.

Мать Кирилла Громова только-что вышла из сеней. Откинувшись назад, она несла таз с мелко нарезанными кусками кормовой тыквы. Мишка почтительно поздоровался с ней, шагнул на крыльцо.

— Дома Кирилл, тетенька?

— Дома, дома, проходи, — сторнясь, сказала старуха.

Мишка вошел в темные сени, в полутьме нащупал дверную ручку.

Кирилл сам открыл ему дверь в горницу, отступил на шаг. Чисто выбритый, улыбающийся и слегка хмельной, он окинул Мишку коротким изучающим взглядом, непринужденно сказал:

— Ишо один служивый! Прходи, Кошевой, садись, гостем будешь. А мы тут выпиваем, так, по маленькой...

— Хлеб-соль да сладкая чарка, — Мишка пожал руку хозяина, оглядывая сидевших за столом гостей.

Приход его был явно не ко времени. Широкоплечий незнакомый Михаилу казак, развалившийся в переднем углу, коротко и вопросительно взглянул на Кирилла, отодвинул стакан. Сидевший по ту сторону стола Ахваткин Семен — дальний родственник Коршуновых, увидев Михаила, нахмурился и отвел глаза.

Хозяин пригласил Мишку к столу.

— Спасибо за приглашение.

— Нет, ты садись, не обижай, выпей с нами.

Мишка присел к столу. Принимая из рук хозяина стакан с самогонкой, кивнул головой.

— С прибытием тебя, Кирилл Иванович!

— Спасибо. Ты-то давно из армии?

— Давно. Успел обжиться.

— И обжиться и жениться, говорят, успел? Да ты что же это кривишь душой? Пей по всей!

— Не хочу. У меня к тебе дело есть.

— Это уж нет! Это ты не балуйся! Нынче я об делах не гутарю. Нынче я гуляю с друзьями. Ежли ты по делу, приходи завтра.

Мишка встал из-за стола, — спокойно улыбаясь, сказал:

— Оно и дело пустяшное, да не терпит. Давай выйдем на минутку.

Кирилл, поглаживая тщательно закрученные черные усы, некоторое время молчал, потом встал.

— Может, тут скажешь? Чего же мы будем компанию рушить?

— Нет, давай выйдем, — сдержанно, но настойчиво попросил Мишка.

— Да выйди ты с ним, чего торгуешься? — сказал незнакомый Мишке широкоплечий казак.

Кирилл неохотно пошел в кухню. Жене, хлопотавшей у печи, шепнул:

— Выйди отседова, Катерина! — И, садясь на лавку, сухо спросил: — Какое дело?

— Ты сколько дней дома?

— А что?

— Сколько, спрашиваю, дома живешь?

— Четвертый день, кажись.

— А в ревком заходил?

— Нет пока.

— А в Вешки думаешь идти, в военкомат?

— Ты к чему это гнешь? Ты по делу пришел, так об деле и говори.

— Я об деле и говорю.

— Тогда ступай ты к чорту! Ты что такое ешь за кочка на ровном месте, что я тебе должен отчет давать?

— Я председатель ревкома. Покажи удостоверение из части.

— Во-о-он что! — протянул Кирилл и острыми потрезвевшими глазами глянул в зрачки Михаила. — Во-с-он ты куда!

— Туда самое. Давай удостоверение!

— Нынче приеду в Совет и принесу.

— Сейчас давай!

— Оно у меня где-то прибрatое.

— Найди.

— Нет, зараз не буду искать. Ступай домой, Михаил, ступай от скандалу.

— У меня с тобой скандал короткий... — Мишка положил руку в правый карман. — Одевайся!

— Брось, Михаил! Ты меня лучше не трогай...

— Пойдем, я тебе говорю!

— Куда?

— В ревком.

— Мне что-то не хочется. — Кирилл побледнел, но говорил насмешливо улыбаясь.

Качнувшись влево, Мишка вытащил из кармана наган, взвел курок.

— Ты пойдешь или нет? — спросил он тихо.

Кирилл молча шагнул к горнице, но

Мишка стал ему на пути, глазами указал на дверь в сени.

— Ребята! — с деланной непринужденностью крикнул Кирилл. — Меня тут вроде арестовали! Допивайте водку без меня!

Дверь из горницы широко распахнулась, Ахваткин ступил было через порог, но, увидев направленный на него наган, поспешно отшатнулся за притолоку.

— Иди, — приказал Мишка Кириллу.

Тот вразвалку пошел к выходу, лениво взялся за скобу и вдруг, одним прыжком перемахнув сени, бешено хлопнул наружной дверью, прыгнул с крыльца. Пока он, пригинаясь, бежал через двор к саду, — Мишка выстрелил по нем два раза и не попал. Положив ствол нагана на локоть согнутой левой руки, широко расставив ноги, Мишка тщательно целился. После третьего выстрела Кирилл как будто споткнулся, но, оправившись, легко прыгнул через плетень. Мишка сбежал с крыльца. Вслед ему из дома грохнул сухой и отрывистый винтовочный выстрел. Впереди, в побеленной стене сарая, пуля выхватила глину и, цокнув, осыпала на землю серые каменные брызги.

Кирилл бежал легко и быстро. Согнутая фигура его мелькала между зелеными шатрами яблонь. Мишка перепрыгнул плетень, упал, лежа выстрелил по убегающему еще два раза и повернулся лицом к дому. Наружная дверь была широко распахнута. На крыльце стояла мать Кирилла, козырьком приложив к глазам ладонь, смотрела в сад. «Надо было его без разговоров стрелять на месте!» — тупо подумал Мишка. Он еще несколько минут лежал под плетнем, поглядывая на дом, и каким-то размеренным механическим движением счищал прилипшую к коленям грязь, а потом встал, тяжело перелез через плетень и, опустив дуло нагана, пошел к дому.

Глава V

Вместе с Кириллом Громовым скрылись Ахваткин и тот незнакомый казак, которого видел Кошевой, когда пришел

к Громовым. В ночь еще двое казаков исчезли из хутора. Из Вешенской в Татарский приехал небольшой отряд Дончека. Кое-кого из казаков арестовали, четырех, явившихся из частей без документов, направили в Вешенскую в штрафную роту.

Кошевой целыми днями просиживал в ревкоме, в сумерках приходил домой, возле кровати клал заряженную винтовку, наган засовывал под подушку и ложился спать не раздеваясь. На третий день после случая с Кириллом он сказал Дуняшке:

— Давай спать в сенцах.

— Чего ради? — изумилась Дуняшка.

— В окно могут стрельнуть. Кровать возле окна.

Дуняшка молча переставила кровать в сени, а вечером спросила:

— Что ж, так и будем на заячьем положении жить? И зима придет, а мы всё будем в сенцах ютиться?

— До зимы далеко, а пока придется так жить.

— И куда же это «пока» будет?

— Пока Кирюшку не шлепну.

— Так он тебе лоб и подставил!

— Когда-нибудь подставит, — уверенно ответил Мишка.

Но расчеты его не оправдались: Кирилл Громов, скрывавшийся вместе со своими приятелями где-то за Доном, услышав о приближении Махно, переместился на эту сторону Дона и отправился в станицу Краснокутскую, где, по слухам, оказались передовые отряды махновской банды. Ночью он побывал в хуторе, на улице случайно встретил Прохора Зыкова и приказал передать Кошевому, что, мол, Громов низко кланяется и просит ждать в гости. Прохор утром рассказал Мишке о встрече и разговоре с Кириллом.

— Что ж, пусть является. Один раз ушел, а в другой уже не вырвется. Научил он меня, как с ихним братом надо обходиться, и за это спасибо, — сказал Мишка, выслушав рассказ.

Махно, действительно, появился в пределах Верхне-Донского округа. Под хутором Коньковым в коротком бою он

разбил пехотный батальон, высланный ему навстречу из Вешенской, но на окружной центр не пошел, а двинулся к станции Миллерово, севернее ее пересек железную дорогу и ушел по направлению к Старобельску. Наиболее активные белогвардейцы-казаки пригнули к нему, но большинство их остались дома, выжидая.

Все так же настороженно жил Кошевой, внимательно присматриваясь ко всему, что происходило в хуторе. А жизнь в Татарском была не очень-то рядная. Казаки усердно поругивали советскую власть за все те нехватки, которые приходилось им испытывать. В крохотной лавчонке недавно организованного ЕПО почти ничего не было. Мыло, сахар, соль, керосин, спички, махорка, колесная мазь — все эти предметы первой необходимости отсутствовали в продаже, и на голых полках сиротливо лежали одни дорогие асмоловские папиросы да кое-что из скобяных товаров, на которые месяцами не находилось покупателя.

Вместо керосина по ночам жгли в блюдах топленое коровье масло и жир. Махорку заменял доморощенный табак — самосад. В широком ходу за отсутствием спичек были кремни и наспех выделяемые кузнецами стальные кресала. Трут вываривали в кипятке с подсолнечной золой, чтобы скорее загорался, но все же с непривычки огонь добывался трудно. Не раз Мишка, по вечерам возвращаясь из ревкома, наблюдал, как курцы, собравшись где-нибудь на проулке в кружок и дружно высекая из кремней искры, вполголоса матерно ругались, приговаривали: «Власть советская, дай огня!». Наконец у кого-либо искра, попавшая в сухой трут, возгоралась, все дружно дули на тлеющий огонек и, закурив, молча присаживались на корточки, делились новостями. Не было и бумаги на раскурку. В церковной караулке растащили все метрические книги, а когда покурили их, по домам пошло на цыгарки все, включая старые ребячьи учебники и даже стариковские священные книги.

Прохор Зыков, довольно часто захаживавший на старое мелеховское по-

дворе, разживался у Михаила бумагой на курение, печально говорил:

— У бабы моей крышка на сундуке была обклеена старыми газетами — содрал и покурил, Новый завет был, такая святая книжка, — тоже искурил, Старый завет искурил. Мало этих заветов святые угодники написали... У бабы книжка была поминальная, всё сродстве там, живое и мертвое, прописанное, — тоже искурил. Что же, зараз мне надо капустные листья курить али, скажем, лопухи вялить на бумагу? Нет, Михаил, как хочешь, а давай газетку. Я без курева не могу. Я на германском фронте свою пайку хлеба иной раз на восьмушку махорки менял.

Невеселая была жизнь в Татарском в ту осень... Визжали на ходах и арбах неподмазанные колеса, сохла и лопалась без дегтя ременная упряжь и обувка, но скучнее всего было без соли. За пять фунтов соли в Вешенской отдавали татарцы сытых баранов и возвращались домой, кляня советскую власть и разруху. Эта проклятая соль много огорчений причинила Михаилу... Как-то в Совет пришли старики. Они чинно поздоровались с председателем, сняли шапки, расселись по лавкам.

— Соли нету, господин председатель, — сказал один из них.

— Господ нету зараз, — поправил Мишка.

— Извиняй, пожалуйста, это всё по старой привычке... Без господ-то жить можно, а без соли нельзя.

— Так что вы хотели, старики?

— Ты, председатель, хлопочи, чтоб привезли соль. С Маныча на быках ее не навозишься.

— Я докладал об этом в округе. Там это известно. Должны вскорости привезти.

— Пока солнце взойдет — роса очи выест, — сказал один из стариков, глядя в землю.

Мишка вспыхнул, встал из-за стола. Багровый от гнева, он вывернул карманы.

— У меня соли нету. Видите? С собой не ношу и из пальца вам я ее не высосу. Понятно, старики?

— Куда она подевалась, эта соль? —

после некоторого молчания спросил кривой старик Чумаков, удивленно оглядывая всех единственным глазом. — Раньше, при старой власти, об ней и речей никто не вел, бугры ее лежали везде, а зараз и щепотки не добудешь...

— Наша власть тут ни при чем, — уже спокойнее сказал Мишка. — Тут одна власть виноватая: бывшая ваша кадетская власть! — уже спокойнее сказал Мишка. — Это она разруху такую учинила, что даже соль представить, может, не на чем! Все железные дороги побитые, вагоны — тоже самое...

Мишка долго рассказывал старикам о том, как белые при отступлении уничтожали государственное имущество, взрывали заводы, жгли склады. Кое-что он видел сам во время войны, кое о чем слышал, остальное же вдохновенно придумал с единственной целью — отвести недовольство от родной советской власти. Чтобы оградить эту власть от упреков, он безобидно врал, ловчился, а про себя думал: «Не дюже большая беда будет, ежели я на сволочей и наговорю немножко. Всё одно они сволочи, и им от этого не убудет, а нам явится польза...».

— ... Вы думаете, они — эти буржуи — пальцем деланные, что ли? Они не дураки! Они все запасы сахару и соли, огромные тыщи пудов, собрали со всей России и увезли ишо загодя в Крым, а там погрузили на пароходы и — в другие страны, продавать, — блестя глазами, говорил Мишка.

— Что ж, они и мазут весь увезли? — недоверчиво спросил кривой Чумаков.

— А ты думал, дед, тебе оставили? Очень ты им нужен, как и весь трудящий народ. Они и мазут найдут кому продать! Они бы всё с собой забрали. ежели б могли, чтобы народ тут с голоду подыхал.

— Это, конечно, так, — согласился один из стариков. — Богатые — все такие гущееды. Спокон веков известно: чем ни богаче, тем он жаднее. В Вешках один купец, когда первое отступление было, все на подводы сложил, все имущество забрал до нитки, и вот уж красные близко подходят, а он все не

выезжает с двора, одетый в шубе бе-
гает по куреню, щипцами гвозди из стен
вынает. «Не хочу, — говорит, — им,
проклятым, ни одного гвоздя оста-
вить!». Так что нехитро, что они и ма-
зут забрали с собой.

— Так как же все-таки без соли бу-
дем? — под конец разговора добродуш-
но спросил старик Максаев.

— Соли наши рабочие скоро новой
нароют, а пока можно на Маныч по-
слать подводы, — осторожно посовето-
вал Мишка.

— Народ не хочет туда ехать. Кал-
мыки там шкодят, соли на озерах не
дают, быков грабежом забирают. Один
мой знакомец пришел оттуда с одним
кнудом. Ночью за Великокняжеской
подъехали трое оруженых калмыков,
быков угнали, а ему показали на горло:
«Молчи, — говорят, — бачка, а то
плохо помрешь...». Вот и поезжай туда!

— Придется подождать, — вздох-
нул Чумаков.

Со стариками Мишка кое-как догово-
рился, но зато дома, и опять-таки из-за
соли, вышел у него с Дуняшкой круп-
ный разговор. Вообще, что-то разлади-
лось в их взаимоотношениях с женой...

Началось это с того памятного дня,
когда он в присутствии Прохора завел
разговор о Григории, да так эта не-
большая размолвка и не забылась.
Однажды вечером Мишка за ужином
сказал:

— Щи у тебя несоленые, хозяйка.
Или недосол на столе, а пересол на
спине?

— Пересола зараз при этой власти
не будет. Ты знаешь, сколько у нас со-
ли осталось?

— Ну?

— Две пригоршни.

— Дело плохое, — вздохнул Мишка.

— Добрые люди ишо летом на Ма-
ныч за солью съездили, а тебе все не-
когда было об этом подумать, — с
укором сказала Дуняшка.

— На чем бы это я поехал? Тебя
запрягать на первом году замужества
как-то неудобно, а бычата нестоящие...

— Ты шуточки оставь до другого ра-
за! Вот как будешь жрать несоленое —
тогда пошутит!

— Да ты чего на меня взъелась? На
самом деле, откуда я тебе этой соли
возьму? Вот какой вы, бабы, народ...
Хоть отрыгни, да подай вам. А ежли
ее нету, этой соли, будь она трижды
проклята?

— Люди на быках на Маныч ездили.
У них теперь и солка будет, и всё, а
мы будем пресное с кислым жевать...

— Как-нибудь проживем, Дуня.
Вскорости должны привезти соль. Аль
у нас этого добра мало?

— У вас всего много.

— У кого это, у вас?

— У красных.

— А ты какая?

— А вот такая, какую видишь. Бре-
хали-брехали: «все-то у нас будет
много, да все будем ровно жить да бо-
гато...». Вот оно и богатство ваше: щи
посолить нечем!

Мишка испуганно посмотрел на жену,
побледнел.

— Что это ты, Дуняха? Как ты гу-
таришь? Да разве можно?

Но Дуняшка закусила удила: она то-
же побледнела от негодования и злости
и, уже переходя на крик, продолжала:

— А так можно? Чего ты глаза вы-
лупил-то? А ты знаешь, председатель,
что у людей уж десны пухнут без со-
ли? Знаешь ты, что люди вместо соли
едят? Землю на солонцах роют, ходят
ажник за Нечаев курган да в щи кла-
дут эту землю... Об этом ты слышал?

— погоди, не шуми, слышал... Даль-
ше что?

Дуняшка всплеснула руками.

— Куда же дальше-то?

— Переживать-то это как-нибудь
надо?

— Ну, и переживай!

— Я-то переживу, а вот ты... А вот у
тебя вся ваша мелеховская порода на-
ружу выкинулась...

— Какая это порода?

— Контровая, вот какая! — глухо
сказал Мишка и встал из-за стола. Он
смотрел в землю, не поднимая на жену
глаз; губы его мелко дрожали, когда он
говорил:

— Ежли ишо раз так будешь гово-
рить — не жить нам с тобой вместе,
так и знай! Твои слова — вражья...

Дунышка что-то хотела возразить, но Мишка скосил глаза и поднял сжатую в кулак руку.

— Молчи!.. — приглушенно сказал он.

Дунышка без страха, с нескрываемым любопытством всмотрелась в него, спустя немного спокойно и весело сказала:

— Ну, и ладно, чорт-те об чем затеялись гутарить... Проживем и без соли! — Она помолчала немного и с тихой улыбкой, которую так любил Мишка, сказала: — Не серчай, Миша! На нас, на баб, ежели за все серчать, так и сердца нехватит. Мало ли чего не скажешь от дурна ума... Ты взвар будешь пить или кислого молока положить тебе?

Несмотря на молодость, Дунышка была уже умудрена житейским опытом и знала, когда в соре можно упорствовать, а когда надо смириться и отступить...

Недели через две после этого от Григория пришло письмо. Он писал, что был ранен на врангелевском фронте и что после выздоровления будет, по всей вероятности, демобилизован. Дунышка сообщила мужу о содержании письма, осторожно спросила:

— Придет он домой, Миша, как же тогда будем жить?

— Перейдем в мою хату. Нехай он один тут живет. Имущество поделим.

— Вместе нам нельзя. Он, по всему видать, Аксинью возьмет.

— Ежели б и можно было, все одно я жить с твоим братцем под одной крышей не стал бы, — резко заявил Мишка.

Дунышка изумленно подняла брови.

— Почему, Миша?

— Ты же знаешь.

— Это — что он в белых служил?

— Вот-вот, это самое.

— Не любишь ты его... Вы же друзья с ним были!

— На чорта он мне сдался — любить его! Были друзья, да только кончилась наша дружба.

Дунышка сидела за прялкой. Размеренно жужжало колесо. Нитка пряжи оборвалась. Ладонью Дунышка придерж-

жала обод колеса, — ссучивая нитку, не глядя на мужа, спросила:

— Придет он, что же ему за службу у казаков будет?

— Суд будет. Трибунал.

— А к чему же он его может присудить?

— Ну, уж этого я не знаю, я не судья.

— Могут и к расстрелу присудить?

Мишка посмотрел на кровать, где спали Мишатка с Полюшкой, прислушался к их ровному дыханию, — понизив голос, ответил:

— Могут.

Больше Дунышка ни о чем не спрашивала. Утром, подоив корову, зашла к Аксинье.

— Скоро Гриша приедет, зашла тебя порадовать.

Аксинья молча поставила чугунок с водой на загнетку, прижала руки к груди. Глядя на ее вспыхнувшее лицо, Дунышка сказала:

— А ты не дюже радуйся. Мой говорит, что суда ему не миновать. К чему присудят — бог его знает.

В глазах Аксиньи, увлажненных и сияющих, на секунду мелькнул испуг.

— За что? — отрывисто спросила она, а сама все еще была не в силах согнать с губ запоздавшую улыбку.

— За восстание, за все.

— Брехня! Не будут его судить. Ничего он, твой Михаил, не знает, тоже, знахарь нашелся!

— Может, и не будут. — Дунышка помолчала, потом сказала, подавив вздох: — Злой он на братушку... Так мне от этого тяжело на сердце — и сказать не могу! Жалко братушку страшно! Его опять поранили... Вот какая у него жизнь нескладная...

— Лишь бы пришел: заберем детей и скроемся куда-нибудь — взволнованно проговорила Аксинья.

Она зачем-то сняла головной платок, снова покрылась и, бесцельно переставляя посуду на лавке, все никак не могла унять охватившего ее сильного волнения.

Дунышка заметила, как дрожали ее руки, когда она присела на лавку и ста-

ла разглаживать на коленях складки старенького приношенного передника.

Что-то подступило к горлу Дунышки. Ей захотелось поплакать одной.

— Не дождалась его маманя... — тихо сказала она. — Ну, я пойду. Надо печь затоплять.

В сенях Аксинья торопливо и неловко поцеловала ее в шею, поймала и поцеловала руку.

— Рада? — прерывающимся низким голосом спросила Дунышка.

— Так, самую малость, чуть-чуть... — ответила Аксинья, пытаясь за шуткой, за дрожащей улыбкой скрыть проступившие слезы.

Глава VI

На станции Миллерово Григорию, как демобилизованному красному командиру, предоставили обывательскую подводку. По пути к дому он в каждой украинской слободе менял лошадей и за сутки доехал до границы Верхне-Донского округа. В первом же казачьем хуторе председатель ревкома — молодой, недавно вернувшийся из армии красноармеец — сказал:

— Придется вам, товарищ командир, ехать на быках. Лошадей у нас на весь хутор одна, и та на трех ногах ходит. Всех лошадок на Кубани оставили при отступлении.

— Может, на ней как-нибудь доберусь? — спросил Григорий, постукивая пальцами по столу, испытующе глядя в веселые глаза разбитного председателя.

— Не доберетесь. Неделю будете ехать и все одно не доедете! Да вы не беспокойтесь, быки есть у нас справные, шаговитые, и нам все одно надо подводу в Вешенскую посылать, телефонный провод отправить, заваялся у нас тут после этой войны; вот вам подводку и менять не придется, до самого дома вас доставит. — Председатель прижмурил левый глаз и, улыбаясь и лукаво подмигивая, добавил: — Дадим вам наилучших быков и в подводчицы — молодую, вдовую 'бабу... Есть у нас тут одна такая зараза, что лучше и во сне не признается! С ней и не заметите, как дома

будете. Сам служил, — знаю все это и тому подобную военную нужду...

Григорий молча прикидывал в уме: ждаться попутную подводу — глупо, идти пешком — далеко. Надо было соглашаться и ехать на быках.

Через час подошла подвода. Колеса на старенькой арбе визгливо скрипели, вместо задней грядущки торчали обломки, ключьями свисало неряшливо наваленное сено. «Довоевались!» — подумал Григорий, с отвращением глядя на убогую справу. Подводчица шагала рядом с быками, помахивая кнутом. Она действительно была очень хороша собой и статна. Несколько портила ее фигуру массивная, не по росту, грудь, да косой шрам на круглом подбородке придавал лицу выражение нехорошей бывалости и словно бы старил смуглорумяное молодое лицо, у переносицы осыпанное мелкими, как просо, золотистыми веснушками.

Поправляя платок, она сощурила глаза, внимательно оглядела Григория, спросила:

— Тебя, что ли, везть?

— Григорий встал с крыльца, запахнул шинель.

— Меня. Провод погрузила?

— А я им проклятая грузить! — звонко закричала казачка. — Кажин день в езде да в работе! Таковская я им, что ли? Небось сами эту проволочку навалют, а нет — так я и порожнем уеду!

Она таскала на арбу мотки провода, громко, но беззлобно переругивалась с председателем и изредка метала на Григория косые изучающие взгляды. Председатель все время посмеивался, смотрел на молодую вдову с искренним восхищением. Иногда подмигивая Григорию, он как бы говорил: «Вот какие у нас бабы есть! А ты не верил!».

За хутором далеко протянулась бурая, поблекшая, осенняя степь. От пашни тянулся через дорогу сизый поток дыма. Пахари жгли выволочки — сухой кустистый жабрей, выцветшую волокнистую брицу. Запах дыма разбудил в Григории грустные воспоминания: когда-то и он, Григорий, пахал зябь в глухой осенней степи, смотрел по ночам

на мерцающее звездами черное небо, слушал перековки летевших в вышине гусиных станиц... Он беспокойно заворочался на сене, поглядел сбоку на подводчицу.

— Сколько тебе лет, бабочка?

— Под шестьдесят, — кокетливо ответила она, улыбаясь одними глазами.

— Нет, без шуток.

— Двадцать первый.

— И вдовая?

— Вдовая.

— Куда же мужа дела?

— Убили.

— Давно?

— Второй год пошел.

— В восстание, что ли?

— После него, перед осенью.

— Ну, и как живешь?

— Живу кое-как.

— Скучно?

Она внимательно посмотрела на него, надвинула на губы платок, пряча улыбку. Голос ее зазвучал глуше, и какие-то новые интонации появились в нем, когда она говорила:

— Некогда скучать в работе.

— Без мужа-то скучно?

— Я со свекровью живу, в хозяйстве делов много.

— Без мужа-то как обходишься?

Она повернулась к Григорию лицом. На смуглых скулах ее заиграл румянец, в глазах вспыхнули и потемнели рыжеватые искорки.

— Ты про что это?

— Про это самое.

Она сдвинула с губ платок, протяжно сказала:

— Ну, этого добра хватает! Свет не без добрых людей... — И, помолчав, продолжала: — Я с мужем-то и бабьей жизни не успела раскушать. Месяц толечко и пожили, а потом его забрали на службу. Обхожусь кое-как без него. Зараз полегчало, молодые казаки попришли в хутор, а то было плохо. Цоб, лысый! Цоб! Вот так-то, служивенький! Такая моя живуха.

Григорий умолк. Ему, пожалуй, не к чему было вести разговор в таком игривом тоне. Он уже жалел об этом.

Крупные, упитанные быки шли всё тем же размеренным, заплетающимся

шагом. У одного из них правый рог был когда-то надломлен и рос, косо ниспадая на лоб. Опираясь на локти, полузакрыв глаза, Григорий лежал на арбе. Он стал вспоминать тех быков, на которых ему в детстве и потом, когда он уже стал взрослым, пришлось работать. Все они были разные по масти, по телосложению, по характеру, даже рога у каждого имели какую-то свою особую форму. Когда-то водился на мелеховском базу бык вот с таким же изуродованным, сбитым набок рогом. Злобный и лукавый, он всегда смотрел искоса, выворачивая иссеченный кровяными прожилками белок, старался лягнуть, когда подходили к нему сзади, и всегда в рабочую пору, по ночам, когда пускали скот на попас, норовил уйти домой, или — что было еще хуже — скрывался в лесу, либо в дальних логах. Часто Григорий верхом на лошади по целым дням развезжал в степи и, уже изверившись в том, что когда-либо найдет пропавшего быка, — вдруг обнаруживал его где-нибудь в самой теклине буерака, в непролазной гущине терновника, либо в тени, под раскидистой и старой дикой яблоней. Умел этот однорогий дьявол снимать налыгач, ночью поддевал рогом завязку на воротцах скотиньего база, выходил на волю и, переплыв Дон, скитался по лугу. Много неприятностей и огорчений доставил в свое время он Григорию...

— Как этот бык, у какого рог сбитый, смиренный? — спросил Григорий.

— Смиренный. А что?

— Да так просто.

— Оно и «так» доброе слово, ежели нечего больше сказать, — с усмешкой проговорила подводчица.

Григорий промолчал. Ему приятно было думать о прошлом, о мирной жизни, о работе, обо всем, что не касалось войны, потому что эта затянущаяся на семь лет война осточертела ему до предела и при одном воспоминании о ней, о каком-либо эпизоде, связанном со службой, он испытывал щемящую внутреннюю тошноту и глухое раздражение.

Он кончил воевать. Хватит с него. Он ехал домой, чтобы, в конце-концов,

взяться за работу, пожить с детьми, с Аксиньей. Еще там, на фронте, он твердо решил взять Аксинью в дом, чтобы она воспитывала его детей и постоянно была возле него. С этим тоже надо было кончать, и чем ни скорее, тем лучше.

Григорий с наслаждением мечтал о том, как снимет дома шинель и сапоги, обуется в просторные чирки, по казачьему обычаю заправит шаровары в белые шерстяные чулки и, накинув на теплый пиджак домотканый зипун, поедет в поле. Хорошо бы взяться руками за чапиги и пойти по влажной борозде за плугом, жадно вбирая ноздрями сырой и пресный запах взрыхленной земли, горький аромат порезанной лемехом травы. В чужих краях и земля и травы пахнут по-иному. Не раз он в Польше, на Украине и в Крыму растирал в ладонях сизую метелку полыни, нюхал и с тоскою думал: «Нет, не то, чужое...».

А подводнице было скучно. Ей хотелось разговаривать. Она бросила погонять быков, села поудобнее и, теребя ременный махор кнута, долго, исподтишка, рассматривала Григория, его сосредоточенное лицо, полуопущенные глаза. «Он не джеде старый, хоть и седой. И какой-то чудаковатый, — думала она. — Всё глаза прижмуряет, чего он их прижмуряет? Как, скажи, уж такой он уморенный, как, скажи, на нем воза возили... А он из себя ничего. Только седых волос много и усы вон почти седые. А так ничего из себя. Чего он все думает? Сначала стал вроде заигрывать, а потом приутих, чегой-то про быка спросил. Не об чем ему разговаривать, что ли? Или, может, робеет? Не похоже. Глаза у него твердые. Нет, хороший казак, только вот чудной какой-то. Ну, и молчи, чорт сутулый! Очень ты мне нужен, как же! Я и сама умею молчать! К жене едешь-не доедешь. Ну, и молчи на доброе здоровье!».

Она привалилась спиной к ребрам арбы, тихо запела.

Григорий поднял голову, посмотрел на солнце. Было еще довольно рано. Тень от прошлогоднего татарника, угрюмо

караулившего дорогу, лежала в полшага; было, по всей вероятности, не больше двух часов пополудни.

Словно очарованная, в мертвом молчании лежала степь. Скупое грело солнце. Легкий ветер беззвучно шевелил рыжую выгоревшую траву. Ни птичьего голоса, ни посвиста сусликов не было слышно вокруг. В холодном бледно-голубом небе не парили коршуны и орлы. И только раз серая тень скользнула через дорогу, и, еще не поднимая головы, Григорий услышал тяжкий мах больших крыльев: пепельно-сизый, блистающий на солнце белым подбоем оперенья пролетел дудак и сел возле дальнего кургана, там, где не освещенная солнцем падина сливалась с сумеречно-лиловой далью. Только поздней осенью наблюдал, бывало, Григорий в степи такую грустную и глубокую тишину, когда ему казалось, что он слышит, как шуршит по сухой траве поджващенное ветром перекати-поле, далеко-далеко впереди пересекающее степь.

Дороге, казалось, не будет конца. Она вилась по изволоку, спускалась в балку, снова поднималась на гребень бугра. И все такая же — глазом не окинешь — простиралась вокруг глухая, табунная степь.

Григорий залюбовался росшим на склоне буерака кустом черноклена. Опаленные первыми заморозками листья его светились дымным багрянцем, словно присыпанные пеплом угли затухающего костра.

— Как тебя звать, дяденька? — спросила подводница, тихонько касаясь кнутовищем плеча Григория.

Он вздрогнул, повернулся к ней лицом. Она смотрела в сторону.

— Григорий. А тебя как?

— Меня зовуткой зовут.

— Помолчала бы ты, зовутка.

— Надоело молчать! Полдня молчу, во рту все пересохло. Ты чего такой невеселый, дядя Гриша?

— А чего мне веселиться?

— Домой едешь, должен веселый быть.

— Года мои ушли — веселиться.

— Ишь ты, старик нашелся. А с чего это ты молодой, а седой?

— Всё-то тебе надо знать... От хорошей жизни, видно, поседел.

— Ты женатый, дядя Гриша?

— Женатый. Тебе, зовутка, тоже надо поскорее замуж выходить.

— Почему это — скорее?

— Да уж дюже ты игреливая...

— А это плохо?

— Бывает и плохо. Знал я одну такую игреливую, тоже вдовая была, играла, играла, а потом нос у нее начал проваливаться...

— Ох; господи, страсти-то какие! — с шутивым испугом воскликнула она и тотчас же деловито добавила: — Наше вдовье дело такое. Бирюка бояться — в лес не ходить.

Григорий взглянул на нее. Она беззвучно смеялась, стиснув мелкие, белые зубы. Вадернутая верхняя губа ее подрагивала, из-под опущенных ресниц озорно светились глаза. Григорий невольно улыбнулся и положил руку на ее теплое круглое колено.

— Бедная ты разнесчастная, зовутка! — сожалеюще сказал он. Двадцать годков тебе, а как тебя жизнь вывездила...

Вмиг от веселости ее и следа не осталось. Она сурово оттолкнула его руку, нахмурилась и покраснела так, что на переносице исчезли крохотные веснушки.

— Ты жену пожалей, когда приедешь, а у меня и без тебя жалельщиков хватит!

— Да ты не серчай, погоди!

— А ну тебя к чорту!

— Я это жалеючи тебя сказал.

— Иди ты со своей жалостью прямо... — она по-мужски умело и привычно выругалась, сверкнула потемневшими глазами.

Григорий поднял брови, смущенно крякнул:

— Загнула, нечего сказать! Вон ты какая необузданная.

— А ты какой? Святой во вшивой шинели, вон ты кто! Знаю я вас! Замуж выходи, то да се, а давно ты таким истовым стал?

— Нет, недавно, — посмеиваясь, сказал Григорий.

— А чего же ты мне уставы читаешь? У меня на это свекровь есть.

— Ну, хватит тебе, чего ты злуешь, дура-баба? Я же промежду прочим так выразился, — примирительно сказал Григорий.

— Гляди вон, быки от нашего разговору с дороги сошли.

Примащиваясь на арбе поудобнее, Григорий мельком взглянул на веселую вдову и заметил на глазах ее слезы. «Вот ишо морока! И всегда они, эти бабы, такие...» — подумал он, ощущая какую-то внутреннюю неловкость и досаду.

Вскоре он заснул, лежа на спине, накрыв лицо бортом шинели, и проснулся только в сумерках. На небе светились бледные вечерние звезды. Свежо и радостно пахло сеном.

— Быков надо кормить, — сказала она.

— Что ж, давай останавливаться.

Григорий сам выпряг быков, достал из вещевой сумки банку мясных консервов, хлеб, наломал и принес целый ворох сухого бурьяна, неподалеку от арбы разложил огонь.

— Ну, садись вечерять, зовутка, хватит тебе серчать.

Она присела к огню, молча вытряхнула из сумки хлеб, кусок заржавленного от старости сала. За ужином гогорили мало и мирно. Потом она легла на арбе, а Григорий бросил в костер, чтобы не затухал, несколько комьев сухого бычьего помета, по-походному примостился возле огня. Долго лежал, подложив под голову сумку, смотрел в мерцающее звездами небо, несвязно думал о детях, об Аксинье, потом задремал и очнулся от вкрадчивого женского голоса:

— Спишь, что ли, служивый? Спишь, ай нет?

Григорий приподнял голову. Опершись на локоть, спутница его свесилась с арбы. Лицо ее, озаренное снизу неверным светом угасающего костра, было розово и свежо, ослепительно белели зубы и кружевная каемка головного платка. Она, как будто между ними и не было размолвки, снова улыбалась, шевеля бровью говорила:

— Боюсь, замерзнешь ты там. Земля-то холодная. Уж ежели дюже озяб,— иди ко мне. У меня шуба те-о-оплая-претеплая! Прийдешь, что ли?

Григорий подумал и со вздохом ответил:

— Спасибо, девка, не хочу. Кабы год-два назад... Небось, не замерзну возле огня.

Она тоже вздохнула, сказала:

— Ну, как хочешь,— и укрылась шубой с головой.

Спустя немного Григорий встал, собрал свои пожитки. Он решил итти пешком, чтобы к рассвету добраться до Татарского.

Немыслимо было ему — возвращающемуся со службы командиру — приехать домой среди бела дня на быках. Сколько насмешек и разговоров вызвал бы такой приезд...

Он разбудил подводчицу.

— Я пойду пешком. Не боишься одна в степи оставаться?

— Нет, я не из пужливых, да тут и хутор близко. А тебе, что ж, не терпится?

— Угадала. Ну, прощай, зовутка, не поминай лихом!

Григорий вышел на дорогу, поднял воротник шинели. На ресницы его упала первая снежинка. Ветер повернул с севера, и в холодном дыхании его Григорию почудился знакомый и милый сердцу запах снега.

★

Кошевой вернулся из поездки в станицу вечером. Дуняшка увидела в окно, как он подъехал к воротам, проворно накинула на плечи платок, вышла во двор.

— Гриша утром пришел,— сказала она у калитки, глядя на мужа с тревогой и ожиданием.

— С радостью тебя,— сдержанно и чуть насмешливо ответил Мишка.

Он вошел в кухню, твердо сжав губы. Под скулами его поигрывали желваки. На коленях у Григория примостилась Полюшка, заботливо принаряженная теткой в чистое платьице. Григорий бережно опустил ребенка на пол, пошел навстречу зятю, улыбаясь, про-

тягивая большую смуглую руку. Он хотел обнять Михаила, но увидел в безулыбчивых глазах его холодок, неприязнь и сдержался.

— Ну, здравствуй, Миша!

— Здравствуй.

— Давно мы с тобой не видались! Будто сто лет прошло.

— Да, давненько... С прибытием тебя.

— Спасибо. Породнились, значит?

— Пришлось... Что это у тебя кровь на щеке?

— Э, пустое, бритвой порезался, спешил.

Они присели к столу и молча разглядывали друг друга, испытывая отчуждение и неловкость. Им еще предстояло вести большой разговор, но сейчас это было невозможно. У Михаила хватило выдержки, и он спокойно заговорил о хозяйстве, о происшедших в хуторе переменах.

Григорий смотрел в окно на землю, покрытую первым голубым снежком, на голые ветви яблонь. Не такой ему представлялась когда-то встреча с Михаилом...

Вскоре Михаил вышел. В сенях он тщательно наточил на бруске нож, сказал Дуняшке:

— Хочу позвать кого-нибудь валушка зарезать. Надо же хозяина угостить, как полагается. Сбегай за самогонкой. Погоди, вот что: дойди до Прохора и скажи ему, чтобы в землю зарылся, а достал самогонки. Он это лучше тебя сделает. Покличь его вечерять.

Дуняшка просила от радости, с молчаливой благодарностью взглянула на мужа... «Может, и обойдется все похорошему... Ну, кончили воевать, чего им зараз-то делить? Хоть бы образумил их господь!» — с надеждой думала она, направляясь к Прохору.

Меньше чем через полчаса прибежал запыхавшийся Прохор.

— Григорий Пантелевич!.. Милушка ты мой!.. И не чаял, и не думал дожидаться!.. — высоким, плачущим голосом закричал он и, споткнувшись о порог, за малым не разбил ведерный кувшин с самогоном.

Обнимая Григория, он всхлипнул, вытер кулаком глаза, разгладил мокрые

от слез усы. У Григория что-то задрожало в горле, но он сдержался, растроганно, грубовато хлопнул верного ординарца по спине, несвязно проговорил:

— Вот и увидались... Ну, и рад я тебе, Прохор, страшно рад! Что же ты, старик, слезу пущаешь? Ослабел на уторах? Гайки слабоватые стали? Как твоя рука? Другую тебе баба не отшибла?

Прохор гулко высморкался, снял полшубок.

— Мы с бабой живем зараз, как голуби. Вторая рука, видишь, целая, а энта, какую поляки отняли, отрастать начинает, ей-богу! Через год уж на ней пальцы окажутся, — заговорил он со свойственной ему веселостью, потрясая порожним рукавом рубахи.

Война приучила их скрывать за улыбкой истинные чувства, сдобривать и хлеб и разговор ядерной солью; потому-то Григорий и продолжал расспросы в том же шутовском духе.

— Как живешь, старый козел? Как прыгаешь?

— По-стариковски, неспеша.

— Без меня ничего ишо не добыл?

— Чего это?

— Ну, соловья, что прошлой зимой носил...

— Пантелевич! Боже упаси! Зараз к чему же такая роскошь? Да и какой из меня добытчик с одной рукой? — Это — твое дело, молодое, холостое... а мне уж пора свою справу бабе на помазок отдавать, сковородки подмазывать...

Они долго смотрели друг на друга — старые окопные товарищи, — смеющиеся и обрадованные встречей.

— Совсем пришел? — спросил Прохор.

— Совсем. Вчистую.

— До какого же ты чина дослужился?

— Был помощником командира полка.

— Чего же это тебя рано спустили?

Григорий помрачнел, коротко ответил:

— Ненужен стал.

— Через чего это?

— Не знаю. Должно быть, за прошлое.

— Так ты же эту фильтру-комиссию, какая при Особом отделе офицеров цедила, проскочил, какое может быть прошлое?

— Мало ли что.

— А Михаил где?

— На базу. Скотину убирает.

Прохор придвинулся ближе, снизил голос:

— Платона Рябчикова с месяц назад расстреляли.

— Что ты говоришь?!

— Истинный бог!

В сенях скрипнула дверь.

— Потом потолкуем, — шепнул Прохор и — громче: — Так что же, товарищ командир, выпьем при такой великой радости? Пойти, покликать Михаила?

— Иди, зови.

Дуняшка собрала на стол. Она не знала, как угодить брату: положила ему на колени чистый рушник, придвинула тарелку с соленным арбузом, раз пять вытерла стакан... Григорий с улыбкой отметил про себя, что Дуняшка зовет его на «вы».

За столом Михаил первое время упорно молчал, внимательно вслушиваясь в слова Григория. Пил он мало и неохотно. Зато Прохор опрокидывал по полному стакану и только багровел да чаще разглаживал кулаком белесые усы.

Накормив и уложив спать детей, Дуняшка поставила на стол большую тарелку с вареной бараниной, шепнула Григорию:

— Братушка, я сбегая за Аксиньей, вы супротив ничего не будете иметь?

Григорий молча кивнул головой. Ему казалось, никто не замечает, что весь вечер он находится в напряженном ожидании, но Дуняшка видела, как он настораживается при каждом стуке, прислушивается и косится на дверь. Положительно ничто не могло ускользнуть от не в меру пронизательных глаз этой Дуняшки...

— А Терещенко-кубанец все взводом командует? — спрашивал Прохор, не выпуская из руки стакана, словно опасаясь, что кто-нибудь отнимет его.

— Убит под Львовом.

— Ну, царство ему небесное. Хороший был конармеец! — Прохор торопливо крестился, потягивал из стакана, не замечая язвительной улыбки Кошевого.

— А этот, у какого чудная фамилия? Какой правофланговым был, фу, будь он проклят, как его, кажись — Май-Борода? Хохол, такой тушистый и веселый, что под Бродами польского офицера напополам разрубил, — он-то живой-здоровый?

— Как жеребец! В пулеметный эскадрон его забрали.

— Коня своего кому же сдал?

— У меня уже другой был.

— А белолобого куда дел?

— Убили осколком.

— В бою?

— В местечке стояли. Обстрел шел. У коновязи и убили.

— Ах, жалко! До чего добрый конь был! — Прохор вздыхал и снова прикладывался к стакану.

В сенях звякнула щеколда. Григорий вздрогнул. Аксинья переступила порог, невнятно сказала: «Здравствуйте!» и стала снимать платок, задыхаясь и не сводя с Григория широко раскрытых, сияющих глаз. Она прошла к столу, села рядом с Дуняшкой. На бровях и ресницах ее, на бледном лице таяли крохотные снежинки. Зажмурившись, она вытерла лицо ладонью, глубоко вздохнула и только тогда, пересилив себя, взглянула на Григория глубокими, потемневшими от волнения глазами.

— Односумка! Ксюша! Вместе отступали, вместе вшей кормили... Хотя мы тебя и бросили на Кубани, но что же нам было делать?! — Прохор протягивал стакан, плеская на стол самогонку. — Выпей за Григория Пантелевича! Проздравь его с прибытием... Говорил я тебе, что возвратится в целости, и вот он, бери его за рупь двадцать! Сидит, как обдутенький!

— Он уже набрался, соседка, ты его не слухай, — Григорий, смеясь, указал глазами на Прохора.

Аксинья поклонилась Григорию и Дуняшке и только слегка приподняла

от стола стакан. Она боялась, что все увидят, как дрожит ее рука.

— С приездом вас, Григорий Пантелевич, а тебя, Дуняша, с радостью.

— А тебя с чем? С горем? — Прохор захохотал, толкнул Михаила в бок.

Аксинья густо покраснела, даже маленькие мочки ушей ее стали прозрачно-розовыми, но, твердо и зло глянув на Прохора, она ответила:

— И меня — с радостью... С великой!

Такой прямокой Прохор был обезоружен и умилен. Он попросил:

— Тяни ее, ради бога, всю до капельки. Умешь прямо сказать — умеи и пить прямо! Мне это вострый нож в сердце, кто оставляет.

В гостях Аксинья побыла недолго, ровно столько, сколько, по ее мнению, позволяло приличие. За все это время она лишь несколько раз, и то мельком, взглянула на своего возлюбленного. Она принуждала себя смотреть на остальных и избегала глаз Григория; потому что не могла притворяться равнодушной, не хотела выдавать своих чувств посторонним. Только один взгляд от порога, прямой, исполненный любви и преданности, поймал Григорий, и этим, по сути, все было сказано... Он вышел проводить Аксинью. Захмелевший Прохор крикнул вслед им:

— А ты недолго! Всё попьем!

В сенях Григорий молча поцеловал Аксинью в лоб и губы, спросил:

— Ну, как, Ксюша?

— Ох, всего не расскажешь... Приидешь завтра?

— Прийду.

Она спешила домой, шла быстро, словно там ждало ее неотложное дело, только около крыльца своего куреня замедлила шаг, осторожно поднялась по скрипучим ступенькам. Ей хотелось поскорее остаться наедине со своими мыслями, со счастьем, которое пришло так неожиданно.

Она сбросила кофту и платок, — не зажигая огня, прошла в горницу. Через неприкрытое ставнями окно в комнату вторгался густой, лиловый свет ночи.

За комелем печи звонко трещал сверчок. По привычке Аक्सинья заглянула в зеркало и хоть в темноте и не видела своего отражения, — все же поправила волосы, разгладила на груди сборки муслиновой кофточки, потом прошла к окну и устало опустилась на лавку.

Много раз в жизни не оправдывались, не сбывались ее надежды и чаяния, и, быть может, поэтому на смену недавней радости пришла всегдашняя тревога. Как-то сложится теперь ее жизнь? Что ждет ее в будущем? И не слишком ли поздно улыбается ей горькое бабье счастье?

Опустошенная пережитым за вечер волнением, она долго сидела, прижавшись щекой к холодному, заиндевешшему стеклу, устремив спокойный и немножко грустный взгляд в темноту, лишь слегка озаряемую снегом.

★

Григорий присел к столу, налил себе из кувшина полный стакан, выпил залпом.

— Хороша? — полюбопытствовал Прохор.

— Не разберу. Давно не пил.

— Как николаевская, истинный бог! — убежденно сказал Прохор и, качнувшись, обнял Михаила. — Ты в этих делах, Миша, разбираешься хуже, чем телок в помоях, а вот я знаю в напитках толк! И каких только настоек и вин мне не припадало пить! Есть такое вино, что не успеешь пробку вынуть, а из бутылки пена идет, как из бешеной собаки, видит бог — не брешу! В Польше, когда прорвали фронт и пошли с Семеном Михайлычем поляков кастрычить, взяли мы с налету одну помещицкую усадьбу. Дом в ней стоит об двух с лишним этажах, на базу скотины набито рог к рогу, птицы всякой по двору ходит — плюнуть некуда, ну, словом, жил этот помещик как царь. Когда взвод наш прибежал на конях в эту усадьбу, там как-раз офицеры пировали с хозяином, нас не ждали. Всех их порубили, в саду и на лестнице, а одного взяли в плен. Важный офицер был, а как забрали его, — и

усы книзу опустил, обмяк весь со страху. Григория Пантелевича в штаб эстренно вызвали, остались мы сами хозяева, зашли в нижние комнаты, а там стол огромный, и чего только на этом столе нету! Покрасовались, а начинать страшно, хотя и ужасные мы голодные. «Ну, как, — думаем, — оно все отравленное?». Пленный наш глядит чертом. Приказуем ему: «Ешь!». Жрет. Не с охотой, а жрет. «Пей!». Опять же пьет он. Из каждой блюда заставили по большому куску пробовать, из каждой бутылки — по стакану пить. Распухает проклятый на наших глазах от этих харчей, а у нас соленые слюны текут. Потом видим, что офицер не помирает, и мы приступили. Наелись, напились пенистого вина по ноздри. Глядь, а офицера чистить с обоих концов начинает. «Ну, — думаем, — пропали! Сам, гад, отравленный корм ел и нас обманул». Приступаем к нему с шашками, а он — и руками и ногами: «Пане, это же я перекушал по вашей милости, не сумлевайтесь, пища здоровая!». И тут мы взялись обратно за вино! Нажмешь пробку — она стрельнет, будто из винтовки, и пена клубом идет, ажник со стороны глядеть страшно! От этого вина я в ту ночь до трех раз с коня падал! Только сяду в седло, и сызнова меня — как ветром сдует. Вот такое вино кажин день пил бы натошак по стакану, по два, и жил бы лет до ста, а так разве свой срок доживешь? Разве это, к примеру, напиток? Зараза, а не напиток! От него, от падалы, раньше срока копыта откинешь... — Прохор кивком головы указал на кувшин с самогоном и... налил себе стакан доверху.

Дуняшка ушла спать к детям в горницу, спустя немного поднялся и Прохор. Покачиваясь, он накинуд внапашку полушубок, сказал:

— Кувшин не возьму. Душа не позволяет ходить с порожней посудой... Прийду, и зараза меня баба зачнет казнить. Она это умеет! Откудова у нее такие вредные слова берутся? Сам не знаю! Прийду выпимши, и она, к примеру, говорит так: «кобель пьяный, безрукий, такой-сякой, разэтакий!». Тихочко и спо-

койночку образумляю ее, говорю: «Где же ты, чортова шалава, сучье вымя ты, видала пьяных кобелей, да ишо безруких? Таковых на свете не бывает». Одну подлость опровергаю — она мне другую говорит, другую опровергаю — она мне третью подносит, так у нас всенощная и идет до зари... Иной раз начертает ее слухать — уйду под сарай спать, а другой раз прийдешь выпимши и, ежели она молчит, не ругается, — я уснуть не могу, истинный бог! Чего-то мне вроде нехватает, какая-то чесотка на меня нападет, — не усну и шабаш! И вот затрону супругу, и опять она пошла меня казнить, ажник искры с меня сыплются! Она у меня от чорта отрывок, деваться некуда, пушай лютует, от этого она злей в работе будет, верно я говорю? Ну, пойду, прощайте! То ли уж мне в яслях переночевать, не тревожить ее нынче?

— До дома дотянешь? — смеясь, осведомился Григорий.

— Раком, а доползу! Али я не казак, Пантелевич? Даже очень обидно слушать.

— Ну, тогда — с богом!

Григорий проводил друга за калитку. Вошел в кухню.

— Что ж, потолкуем, Михаил?

— Давай.

Они сидели друг против друга, разделенные столом, молчали. Потом Григорий сказал:

— Что-то у нас не так... По тебе вижу, не так! Не по душе тебе мой приезд? Или я ошибаюсь?

— Нет, ты угадал, не по душе.

— Почему?

— Лишняя забота.

— Я думаю сам прокормиться.

— Я не об этом.

— Тогда об чем же?

— Враги мы с тобой...

— Были.

— Да, видно, и будем.

— Не понимаю. Почему?

— Ненадежный ты человек.

— Это ты зря. Говоришь ты это зря!

— Нет, не зря. Почему тебя в такое время демобилизовали? Скажи прямо?

— Не знаю.

— Нет, знаешь, да не хочешь сказать! Не доверяли тебе, так?

— Ежли б не верили — не дали бы эскадрон.

— Это на первых порах, а раз в армии тебя не оставили, стало быть, дело ясное, браток!

— А ты мне веришь? — глядя в упор, спросил Григорий.

— Нет! Как волка ни корми, он в лес глядит.

— Ты выпил нынче лишнего, Михаил.

— Это ты брось! Я не пьяней твоего. Там тебе не верили и тут веры большой давать не будут, так и знай!

Григорий промолчал. Вялым движением он взял с тарелки кусок соленого огурца, пожевал его и выплюнул.

— Тебе жена рассказывала про Кирюшку Громова? — спросил Михаил.

— Да.

— Тоже не по душе мне был его приезд. Как только услышал я, в этот же день...

Григорий побледнел, глаза его округлились от бешенства.

— Что ж я тебе — Кирюшка Громов?!

— Не шуми. А чем ты лучше?

— Ну, знаешь...

— Тут и знать нечего. Все давно узнатое. А потом Митька Коршунов явится, мне тоже радоваться? Нет, уж лучше бы вы не являлись в хутор.

— Для тебя лучше?

— И для меня, да и народу лучше, спокойнее.

— Ты меня с ними не равняй!

— Я уже тебе сказал, Григорий, и обижаться тут нечего: ты не лучше их, ты непременно хуже, опасней.

— Чем же? Чего ты мелешь?

— Они рядовые, а ты закручивал всем восстанием.

— Не я им закручивал, я был командиром дивизии.

— А это мало?

— Мало или много — не в том дело... Ежли б тогда на гулянке меня не собирались убить красноармейцы, я бы, может, и не участвовал в восстании.

— Не был бы ты офицером, никто б тебя не трогал.

— Ежли б меня не брали на службу, не был бы я офицером... Ну, это длинная песня!

— И длинная, и поганая песня.

— Зараз ее не перепевать, опаздано.

Они молча закурили. Сбивая ногтем пепел с цыгарки, Кошевой сказал:

— Знаю я об твоих геройствах, слышал. Много ты наших бойцов загубил, через это и не могу легко на тебя глядеть... Этого из памяти не выкинешь.

Григорий усмехнулся.

— Крепкая у тебя память! Ты брата Петра убил, а я тебе что-то об этом не напоминаю... Ежли все помнить — волками надо жить.

— Ну, что ж, убил, не отказываюсь! Довелось бы мне тогда тебя поймать, я и тебя бы положил, как миленького!

— А я, когда Ивана Алексеича в Усть-Хопре в плен забрали, спешил, боялся, что и ты там, боялся, что убьют тебя казаки... Выходит, занапрасну я тогда спешил.

— Благодетель какой нашелся! Поглядел бы я, как ты со мною разговаривал, ежли б зараз кадетская власть была, ежли б вы одолели. Ремни бы со спины, небось, вырезывал! Это ты зараз такой добрый...

— Может, кто-нибудь и резал бы ремни, а я поганить об тебя рук не стал бы.

— Значит, разные мы с тобой люди... Сроду я не стеснялся об врагов руки поганить и зараз не сморгну при нужде.— Михаил вылил в стаканы остатки самогона, спросил: — Будешь пить?

— Давай, а то дюже трезвые мы стали для такого разговора...

Они молча чокнулись, выпили. Григорий слег грудью на стол, смотрел на Михаила щурясь, покручивая ус.

— Так ты чего же, Михаил, боишься? Что я опять буду против советской власти бунтовать?

— Ничего я не боюсь, а между прочим думаю: случись какая-нибудь заварушка — и ты переметнешься на другую сторону.

— Я мог бы там перейти к полякам, как ты думаешь? У нас целая часть перешла к ним.

— Не успел?

— Нет, не схотел. Я отслужил свое. Никому больше не хочу служить. Навоевался за свой век предостаточно и уморился душой страшно. Все мне надоело, и революция, и контрреволюция. Нехай бы вся эта... нехай оно все идет пропадом! Хочу пожить возле своих детишек, заняться хозяйством, вот и все. Ты поверь, Михаил, говорю это от чистого сердца!

Впрочем, никакие заверения уже не могли убедить Кошевого. Григорий понял это и умолк. Он испытал мгновенную и горькую досаду на себя. Какого чорта он оправдывался, пытался что-то доказать? К чему было вести этот пьяный разговор и выслушивать дурацкие проповеди Михаила? К чорту! Григорий встал.

— Кончим этот никчемущий разговор! Хватит! Одно хочу тебе напоследок сказать: против власти я не пойду до тех пор, пока она меня за хрип не возьмет. А возьмет — буду обороняться! Во всяком случае, за восстание голову подкладывать, как Платон Рябчиков, не буду.

— Это как то-есть?

— Так. Пущай мне зачтут службу в Красной Армии и ранения, какие там получил, согласен отсидеть за восстание, но уж ежели расстрел за это получать, — извиняйте! Дюже густо будет!

Михаил презрительно усмехнулся.

— Тоже, моду выдумал! Ревтрибунал или Чека у тебя не будет спрашивать, чего ты хочешь и чего не хочешь, и торговаться с тобой не будут. Раз проштрафился — получай свой паек с довеском. За старые долги надобно платить сполна!

— Ну, тогда поглядим.

— Поглядим, ясное дело.

Григорий снял пояс и рубашку, — кряхтя, стал разуваться.

— Делиться будем? — спросил он, с чрезмерным вниманием разглядывая отпоровшуюся подметку на сапоге.

— У нас дележ короткий: подправлю свою хатенку и перейду туда.

— Да, давай уж как-нибудь расходиться. Ладу у нас с тобой не будет.

— Не будет, — подтвердил Михаил.

— Не думал, что ты обо мне такого мнения... Ну, что ж...

— Я сказал прямо. Что думаю, то и сказал. В Вешенскую когда поедешь?

— Как-нибудь, днями.

— Не как-нибудь, а надо ехать завтра.

— Я шел пешком почти сорок верст, подбил, завтра отдохну, а послезавтра пойду на регистрацию.

— Приказ есть такой регистрироваться немедленно. Ступай завтра.

— День-то отдохнуть надо? Не убегу же я.

— А чорт тебя знает. Я за тебя отвечать не хочу.

— До чего же ты сволочной стал, Михаил! — сказал Григорий, не без удивления разглядывая посуровевшее лицо бывшего друга.

— Ты меня не сволочи! Я к этому не привык... — Михаил перевел дух и повысил голос: — Эти, знаешь, офицерские повадки бросать надо! Отправляйся завтра же, а ежели добром не пойдешь, — погоню под конвоем, понятно?

— Теперь все понятно... — Григорий с ненавистью посмотрел в спину уходившему Михаилу, не раздеваясь лег на кровать.

Что ж, все произошло так, как и должно было произойти. И почему его, Григория, должны были встречать по-иному! Почему, собственно, он думал, что кратковременная честная служба в Красной Армии покроет все его прошлые грехи? И, может быть, Михаил прав, когда говорит, что не все прощается и что надо платить за старые долги сполна?

...Григорий видел во сне широкую степь, развернутый, приготовившийся к атаке полк. Уже, откуда-то издалека, неслось протяжное: «Эскадр-ро-о-он...», — когда он вспомнил, что у седла отпущены подпруги. С силой ступил на левое стремя, — седло поползло под ним... Охваченный стыдом и ужасом, он прыгнул с коня, чтобы затянуть подпруги, и в это время услышал мгновенно возникший и уже стремительно удалявшийся грохот конских копыт. Полк пошел в атаку без него...

Григорий заворчался и, просыпаясь,

услышал свой хриплый стон.

За окном чуть брезжил рассвет. Наверно, ветер ночью открыл ставню, — и сквозь запущенное изморозью стекло был виден зеленый искрящийся круг ущербленного месяца. Ощупью Григорий нашел кисет, закурил. Все еще гулко и часто сдвигало сердце. Он лег на спину, улыбнулся: «приснится же такая чертовщина! Не довелось сразиться...». Не думал он в этот предрачевый час, что еще не раз придется ему ходить в атаку и во сне и на яву.

Глава VII

Дуняшка поднялась рано, — надо было доить корову. В кухне осторожно ходил, покашливал Григорий. Прикрыв детисек одеялом, Дуняшка проворно оделась, вошла в кухню. Григорий застегивал шинель.

— Вы куда это спозаранок собрались, братушка?

— Пройдусь по хутору, погляжу.

— Позавтракали бы — тогда...

— Не хочу, голова болит.

— К завтраку вернетесь? Я zaraz печь затоплю.

— Меня нечего ждать, я не скоро прийду.

Григорий вышел на улицу. К утру слегка оттаяло. Ветер дул с юга влажный и теплый. На каблуки сапог прилипал перемешанный с землею снег. Медленно шагая к центру хутора, Григорий внимательно, словно в чужой местности, разглядывал знакомые с детства дома и сараи. На площади чернели обуглившиеся развалины купеческих домов и лавок, сожженных Кошевым в прошлом году, полуразрушенная церковная ограда зияла проломами. «Кирпич на печки понадобился» — равнодушно подумал Григорий. Церковь стояла по-прежнему маленькая, вросшая в землю. Давно не крашенная крыша ее золотилась ржавчиной, стены пестрели бурьими потеками, а там, где отвалилась штукатурка, — ярко и свежо краснел обнаженный кирпич.

На улицах было безлюдно. Две или три заспанных бабы повстречались Григорию неподалеку от колодца. Они молча, как чужому, кланялись Григо-

рию, и только когда он проходил мимо, — останавливались и подолгу глядели ему вслед.

Григорий повернул обратно. «Надо бы на могилки сходить, — проведать мать и Наталью» — подумал он и свернул в проулок по дороге к кладбищу, но, пройдя немного, остановился. И без того тяжело и смутно было у него на сердце. «Как-нибудь в другой раз схожу», — решил он, направляясь к Прохору. — «Им-то теперь все равно — приду или не приду. Им там покойно теперь. Все кончено. Могилки присыпало снежком. А земля, наверно, холодная там, в глубине... Вот и отжили — да как скоро, как во сне. Лежат все вместе, рядом: и жена, и мать, и Петро с Дарьей... Всей семьей перешли туда и лежат рядом. Им хорошо, а отец — один в чужой стороне. Скучно ему там среди чужих...». Григорий уже не смотрел по сторонам, шел, глядя под ноги, на белый, слегка увлажненный оттепелью и очень мягкий снежок, настолько мягкий, что он даже не ощущался под ногами и почти не скрипел.

Потом Григорий стал думать о детях. Какие-то они стали не по летам сдержанные, молчаливые, не такие, какими были при матери. Слишком много отняла у них смерть. Они напуганы. Почему Полюшка вчера заплакала, когда увидела его? Дети не плачут при встрече, это на них не похоже. О чем она подумала? И почему в глазах ее мелькнул испуг, когда он взял ее на руки? Может быть, она все время думала, что отца нет в живых и он никогда больше не вернется, а потом, увидев его, испугалась? Во всяком случае, он, Григорий, ни в чем не виноват перед ними. Надо только сказать Аксинье, чтобы она жалела их и всячески старалась заменить им мать... Пожалуй, они привяжутся к маме. Она ласковая, добрая баба. Из любви к нему она будет любить и детей.

Об этом тоже тяжело и горько было думать. Все это было не так-то просто. Вся жизнь оказалась вовсе не такой простой, какой она представлялась ему недавно. В глупой, ребячьей наивности он предполагал, что достаточно вер-

нуться домой, сменить шинель на зипун, и все пойдет, как по-писаному: никто ему слова не скажет, никто не упрекнет, все устроится само собой, и будет он жить да поживать мирным хлеборобом и примерным семьянином. Нет, не так это просто выглядит на самом деле.

Григорий осторожно открыл повисшую на одной петле калитку зыковского база. Прохор в растоптанных круглых валенках, в надвинутом по самые брови треухе шел к крыльцу, беспечно помахивая порожним дойным ведром. Белые капли молока невидимо сеялись по снегу.

— Здорóво ночевали, товарищ командир!

— Слава богу.

— Опохмелиться бы надо, а то голова пустая, как вот это ведро.

— Опохмелиться — дело стóящее, а почему ведро пустое? Сам, что ли, корову доил?

Прохор кивком головы сдвинул треух на затылок, и только тогда Григорий увидел необычайно мрачное лицо друга.

— А то чорт, что ли, мне ее будет доить? Ну, я ей, проклятой бабе, надоил. Как бы животом она не захворала от моего удоя!.. — Прохор остервенело швырнул ведро, коротко сказал: — Пойдем в хату.

— А жена? — нерешительно спросил Григорий.

— Черти с квасом ее съели! Ни свет, ни заря сгрелась и поехала в Кружилинский за терном. Пришел от вас, и взялась она за меня! Читала-читала разные акафисты, потом как вскочит: «Поеду за терном! Нынче Максаевы снохи едут, и я поеду!» — «Езжай, думаю, хоть за грушами, скатертью тебе дорога!». Встал, затопил печь, пошел корову доить. Ну, и надоил. Ты думаешь, одной рукой способно такие дела делать?

— Позвал бы какую-нибудь бабу, чужак!

— Чужак баран, он до Покрова матку сосет, а я сроду чужаком не был. Думалось — сам управлюсь! Ну, и управился. Уж я под этой коровой лазил-лазил на ракушках, а она, тре-

клятая, не стоит, ногами сучит. Я и трех снял, чтобы не пугать ее, — один толк. Рубаха на мне взмокла, пока подоил ее, и только руку протянул, ведро из-под нее брать, — как она даст ногой! Ведро — на один бок, я — на другой. Вот и надоил. Это не корова, а чорт с рогами. Плюнул ей в морду и пошел. Я и без молока проживу. Будем похмеляться?

— А есть?

— Одна бутылка. Заклятая.

— Ну, и хватит.

— Проходи, гостем будешь. Яишню сжарить? Я это в один миг.

Григорий нарезал сала, помог хозяину развести на загнетке огонь. Они молча смотрели, как шипят, подтаивают и скользят по сковородке кусочки розового сала. Потом Прохор вытащил из-за божницы запыленную бутылку.

— От бабы хороню там секретные дела, — коротко пояснил он.

Закусывали они в маленькой жарко натопленной горнице, пили и вполголоса разговаривали.

С кем же, как не с Прохором, мог поделиться Григорий своими самыми сокровенными думами? Он сидел за столом, широко расставив длинные мускулистые ноги, хриповатый басок его звучал приглушенно.

— ...И в армии, и всю дорогу думал, как буду возле земли жить, отдохну в семье от всей этой чертовщины. Шутка дело — восьмой год с коня не слазил! Во сне, и то чуть не каждую ночь вся эта красота снится: то ты убиваешь, то тебя убивают... Только, видно, Прохор, не выйдет по-моему... Видно, другим, не мне придется пахать землю, ухаживать за ней...

— Говорил с Михаилом вчера?

— Как меду напился.

— Чего же он?

Григорий крестом сложил пальцы.

— Вот на нашу дружбу. За службу белым попрекает, думает, что зло таю на новую власть, нож держу против нее за пазухой. Боятся, что восстание буду подымать, а на чорта мне это нужно, — он и сам, дурак, не знает.

— Он и мне это говорил.

Григорий невесело усмехнулся.

— Один хохол на Украине, как шли на Польшу, просил у нас оружия для обороны села. Банды их одолевали, грабили, скотину резали. Командир полка — при мне разговор был — и говорит: «Вам дай оружие, а вы сами в банду пойдете». А хохол смеется, говорит: «Вы, товарищ, только вооружите нас, а тогда мы не только бандитов, но и вас не пустим в село». Вот и я зараз вроде этого хохла думаю: кабы можно было в Татарский ни белых, ни красных не пустить — лучше было бы. По мне они одной цены, — что, скажем, свояк мой Митька Коршунов, что Михаил Кошевой. Он думает, что такой уж я белым приверженный, что и жить без них не могу. Хреновина! Я им приверженный, как же! Недавно, когда подступили к Крыму, довелось цокнуться в бою с корниловским офицером — полковничек такой шустрый, усики подбритые по-англицки, под ноздрями две полоски, как сопли, — так я его с таким усердием навернул, ажник сердце зыграло! Полголовы вместе с половиной фуражки осталось на бедном полковничке... и белая офицерская кокарда улетела... Вот и вся моя приверженность. Они мне тоже насолили достаточно. Кровью заработал этот проклятый офицерский чин, а промежду офицеров был, как белая ворона. Они, сволочи, и за человека меня сроду не считали, руку гребовали подавать, да чтобы я им после этого... Под разэтакую мамашу! И говорить-то об этом тошно! Да чтоб я ихнюю власть опять устанавливал? Генералов Фицхелауровых приглашал? Я это дело спробовал раз, а потом год икал, хватит, ученый стал, на своем горбу все отпробовал!

Макая в горячее сало хлеб, Прохор сказал:

— Никакого восстания не будет. Первое дело — казаков вовсе на-мале осталось, а какие уцелели — они тоже грамотные стали. Крови братушкам пустили порядком, и они такие смирные да умные стали, что их зараз к восстанию и на аркане не притянешь. А тут ишо наголодался народ по мирной жизни. Ты поглядел бы, как это лето все

работали: сено понавалили скирды, хлеб убрали весь до зерна, ажник хрипят, а пашут и сеют, как, скажи, каждый сто годов прожить собирается! Нет, об восстании и гутарить нечего. Глупой это разговор. Хотя чума их знает, чего они, казачки, удумать могут...

— А чего же они удумать могут? Ты это к чему?

— Соседи-то наши удумали же...

— Ну?

— Вот тебе и ну. Восстание в Воронежской губернии, где-то за Богучаром, поднялось.

— Брехня это!

— Какая там брехня, вчера сказал знакомый милиционер. Их как будто туда направлять собираются.

— В каком самом месте?

— В Монастырщине, в Сухом Донце, в Пасеке, в Старой и Новой Калитве и ишо где-то там. Восстание, говорит, огромное.

— Чего же ты вчера об этом не сказал, гусь щипаный?

— Не схотел при Михаиле говорить, да и приятности мало об таких делах толковать. Век бы не слышать про такие штуки, — с неудовольствием ответил Прохор.

Григорий помрачнел. После долгого раздумья сказал:

— Это плохая новость.

— Она тебя не касается. Нехай холы думают. Набьют им зады до болятки, тогда узнают, как восставать. А нам с тобой это вовсе ни к чему. Мне за них нисколько не больно.

— Мне теперь будет трудновато.

— Чем это?

— Как — чем? Ежели и окружная власть обо мне такого мнения, как Кошевой, тогда мне тигулевки не миновать. По соседству восстание, а я бывший офицер да ишо повстанец... Понятно тебе?

Прохор перестал жевать, задумался. Такая мысль ему не приходила в голову. Оглушенный хмелем, он думал медленно и туговато.

— При чем же ты тут, Пантелевич? — недоуменно спросил он.

Григорий досадливо поморщился,

промолчал. Новостью он был явно встревожен. Прохор протянул было ему стакан, но он отстранил руку хозяина, решительно сказал:

— Больше не пейю.

— А может, ишо по одной протянем? Пей, Григорий Пантелевич, пока почернеешь. От этой развеселой жизни только самогонку и глушить.

— Черней уж ты один. И так голова дурная, а от нее и вовсе загубишься. Мне нынче в Вешки итти, регистрироваться.

Прохор пристально посмотрел на него. Опаленное солнцем и ветрами лицо Григория горело густым, бурым румянцем, лишь у самых корней зачесанных назад волос кожа светилась матовой белизной. Он был спокоен, этот выдавший виды служивый, с которым война и невзгоды сроднили Прохора. Слегка припухшие глаза его смотрели хмуро, с суровой усталостью.

— Не боишься, что это самое... что посадят? — спросил Прохор.

Григорий оживился.

— Как-раз этого-то, парень, и боюсь! Сроду не сидел и боюсь тюрьмы хуже смерти. А видно, придется и этого добра спробовать.

— Зря ты домой шел, — с сожалением сказал Прохор.

— А куда же мне было деваться?

— Прислонился бы где-нибудь в городе, переждал, пока утрясется эта живуха, а тогда и шел бы.

Григорий махнул рукой, засмеялся.

— Это не по мне! Ждать да догонять — самое постылое дело. Куда же я от детей пошел бы?

— Тоже, сказал! Жили же они без тебя? Потом забрал бы их и свою любезную. Да, забыл тебе сказать! Хозяева твои, у каких ты перед войной с Аксиньей проживал, преставились обое.

— Листницкие?

— Они самые. Кум мой Захар был в отступе при молодом Листницком за денщика, рассказывал: старый пан в Морозовской от тифу помер, а молодой до Екатеринодара дотянул, там его супруга связалась с генералом Покровским, ну, он и не стерпел, застрелился от неудовольствия.

— Ну, и чорт с ними, — равнодушно сказал Григорий. — Жалко добрых людей, какие пропали, а об этих горевать некому. — Он встал, надел шинель, и, уже держась за дверную скобу, раздумчиво заговорил: — Хотя, чорт его знает, такому, как молодой Листницкий или как наш Кошевой, я всегда завидовал... Им с самого начала все было ясное, а мне и до се все неясное. У них, у обоих, свои, прямые дороги, свои концы, а я с семнадцатого года хожу по вилложкам, как пьяный качаюсь... От белых отбился, к красным не пристал, так и плаваю, как навоз в проруби... Видишь, Прохор, мне, конечно, надо бы в Красной Армии быть до конца, может тогда и обошлось бы для меня все по-хорошему. И я сначала — ты же знаешь это — с великой душой служил советской власти, а потом все это поломалось... У белых, у командования ихнего, я был чужой, на подозрении у них был всегда. Да и как могло быть иначе? Сын хлебороба, безграмотный казак, — какая я им родня? Не верили они мне! А потом и у красных так же вышло. Я ить не слепой, увидал, как на меня комиссар и коммунисты в эскадроне поглядывали... В бою с меня глаз не сводили, караулили каждый шаг и, наверняка, думали: «Э-э, сволочь, беляк, офицер казачий, как бы он нас не подвел». Приметил я это дело, и сразу у меня сердце захолодало. Остатнее время я этого недоверия уже терпеть не мог больше. От жару ить и камень лопается. И лучше, что меня демобилизовали. Всё к концу ближе. — Он глухо откашлялся, помолчал и, не оглядываясь на Прохора, уже другим голосом сказал: — Спасибо за угощение. Пошел я. Бывай здоров. К вечеру, ежели вернусь, зайду. Бутылку прибери, а то жена придет — сковородник об твою спину обломает.

Прохор проводил его до крыльца, в сенях шепнул:

— Ох, Пантелевич, гляди, как бы тебя там не примкнули...

— Погляжу, — сдержанно ответил Григорий.

Не заходя домой, он спустился к Дону, отвязал у пристани чей-то бар-

кас, пригоршнями вычерпал из него воду, потом выломал из плетня кол, пробил лед в окраинцах и поехал на ту сторону.

По Дону катились на запад темнозеленые, вспененные ветром волны. В тиховодьи, у берегов, они обламывали хрупкий прозрачный ледок, раскачивали зеленые пряди тины-шелковицы. Над берегом стоял хрустальный звон бьющихся льдинок, мягко шуршала омываемая водой прибрежная галька, а на середине реки, там, где течение было стремительно и ровно, — Григорий слышал только глухие всплески и клетот волн, толпившихся у левого борта баркаса, да низкий, басовитый и неумолчный гул ветра в обдонском лесу.

До половины вытащив баркас на берег, Григорий присел, снял сапоги, тщательно перемотал портянки, чтобы легче было итти.

К полудню он пришел в Вешенскую.

В окружном военном комиссариате было многолюдно и шумно. Резко дребезжали телефонные звонки, хлопали двери, входили и выходили вооруженные люди, из комнат доносилась сухая дробь пишущих машинок. В коридоре десятка два красноармейцев, окружив небольшого человека, одетого в сборчатый романовский полушубок, что-то наперебой говорили и раскатисто смеялись. Из дальней комнаты, когда Григорий проходил по коридору, двое красноармейцев выкатили станковый пулемет. Колесики его мягко постукивали по выщербленному деревянному полу. Один из пулеметчиков, упитанный и рослый, шутиливо покрикивал: — «А ну, сторонись, штрафная рота, а то задавлю!».

«Видно, и на самом деле собираются выступать на восстание» — подумал Григорий.

Его задержали на регистрации недолго. Поспешно отметив удостоверение, секретарь военкомата сказал:

— Зайдите в политбюро¹, при Дончека. Вам, как бывшему офицеру, надлежит взяться у них на учет.

¹ Здесь: название окружных или уездных органов ЧК в 1920—1921 гг.

— Слушаю, — Григорий отковырял, ничем не выдав охватившего его волнения.

На площади он остановился в раздумьи. Надо было идти в политбюро, но все существо его мучительно сопротивлялось этому. «Посадят!» — говорил ему внутренний голос, и Григорий содрогался от испуга и отвращения. Он стоял около школьного забора, незрячими глазами смотрел на унавоженную землю и уже видел себя со связанными руками, спускающегося по грязной лестнице в подвал, и — человека за спиной, твердо сжимающего шершавую рукоятку нагана. Григорий сжал кулаки, посмотрел на вздувшиеся синие вены. И эти руки свяжут? Вся кровь бросилась ему в лицо. Нет, сегодня он не пойдет туда! Завтра — пожалуйста, а сегодня он сходит в хутор, проживет этот день с детьми, увидит Аксинью, и утром вернется в Вешенскую. Чорт с ней, с ногой, которая побаливает при ходьбе. Он только лишь на один день сходит домой — и вернется сюда, непременно вернется. Завтра будь что будет, а сегодня — нет!

— А-а, Мелехов! Сколько лет, сколько зим...

Григорий повернулся. К нему подходил Яков Фомин — однополчанин Петра, бывший командир мятежного 28-го полка Донской армии.

Это был уже не тот Фомин, нескладный и небрежно одетый атаманец, каким его некогда звал Григорий. За два года он разительно изменился: на нем ловко сидела хорошо подогнанная кавалерийская шинель, холеные русые усы были лихо закручены, и во всей фигуре, в подчеркнуто бравой походке, в самодовольной улыбке сквозило сознание собственного превосходства и отличия.

— Какими судьбами к нам? — спросил он, пожимая руку Григория, заглядывая в глаза ему своими широко поставленными голубыми глазами.

— Демобилизован. В военкомат заходил...

— Давно прибыл?

— Вчера.

— Часто вспоминаю брата твоего

Петра Пантелевича. Хороший был казак, а погиб зря... Мы же с ним темные друзья были. Не надо было вам, Мелехов, восставать в прошлом году. Ошибку вы понесли!

Что-нибудь надо было говорить, и Григорий сказал:

— Да. Ошиблись казаки...

— Ты в какой части был?

— В Первой Конной.

— Кем?

— Командиром эскадрона.

— Вот как! Я тоже зараз команду эскадрона. Тут же у нас, в Вешенской, свой караульный эскадрон. — Он глянул по сторонам и, понизив голос, предложил: — Вот что, пойдем-ка пройдемся, проводишь меня трошки, а тут народ слоняется, не дадут нам потолковать.

Они пошли по улице. Фомин, искоса поглядывая на Григория, спросил:

— Думаешь дома жить?

— А где же мне жить? Дома

— Хозяйствовать?

— Да.

Фомин сожалеюще покачал головой и вздохнул:

— Плохое время ты, Мелехов, выбрал, ох, плохое... Не надо бы тебе домой являться ишо год, два.

— Почему?

Взяв Григория под локоть, слегка наклонившись, Фомин шепнул:

— Тревожно в округе. Казаки даже недовольные продрозверсткой. В Богучарском уезде восстание. Нынче выступаем на подавление. Лучше бы тебе, парень, смыться отсюда, да поживее. С Петром друзья мы были большие, поэтому и даю тебе такой совет: уходи!

— Мне уходить некуда.

— Ну, гляди! Я к тому это говорю, что политбюро офицеров зачинает арестовывать. За эту неделю трех подхорунжих с Дударевки привезли, одного с Решетовки, а с этой стороны Дона их пачками везут, да и простых, нечиненых казаков начинают щупать. Угадывай сам, Григорий Пантелевич.

— За совет спасибо, но только никуда я не пойду, — упрямо сказал Григорий.

— Это уж твое дело.

Фомин заговорил о положении в округе, о своих взаимоотношениях с окружным начальством и с окрвоенкомом Шахаевым. Занятый своими мыслями, Григорий слушал его невнимательно. Они прошли три квартала, и Фомин приостановился.

— Мне надо зайти в одно место. Пока. — Приложив руку к кубанке, он холодно попрощался с Григорием, пошел по переулку, поскрипывая новыми наплечными ремнями, прямой и до смешного важный. Григорий проводил его взглядом и повернул обратно. Поднимаясь по каменным ступенькам двухэтажного здания политбюро, он думал: «Кончать — так поскорее, нечего тянуть! Умел, Григорий, шкодить — умей и ответ держать!».

Глава VIII

Часам к восьми утра Аксинья загребла жар в печи, присела на лавку, вытирая завеской раскрасневшееся, потное лицо. Она встала еще до рассвета, чтобы пораньше освободиться от стряпни, — наварила лапши с курицей, напекла блинцов, вареники обильно залила каймаком, поставила зажаривать; она знала — Григорий любит зажаренные вареники, и готовила праздничный обед в надежде, что возлюбленный будет обедать у нее.

Ей очень хотелось под каким-нибудь предлогом пойти к Мелеховым, побыть там хоть минутку, хоть одним глазком взглянуть на Григория. Просто невысказанно было думать, что он тут, рядом, и не видеть его. Но она все же пересилила это желание, не пошла. Не девчонка же она, в самом деле. В ее возрасте незачем поступать легкомысленно...

Она тщательнее, чем всегда, вымыла руки и лицо, надела чистую рубашку и новую, с прошивкой, нижнюю юбку. У открытого сундука долго стояла в раздумьи — что же все-таки надеть? Неудобно было в будничные дни наряжаться, но и не хотелось оставаться в простом, рабочем платье. Не зная, на чем остановить свой выбор, Аксинья хмурилась, небрежно перебирала выглаженные юбки. Наконец, она ре-

шительно взяла темносинюю юбку и почти неприношенную голубую кофточку, отделанную черным кружевом. Это было лучшее, что она имела. В конце концов, не все ли равно, что подумают о ней соседи? Пусть для них сегодня — будни, зато для нее — праздник. Она торопливо принарядилась, подошла к зеркалу. Легкая, удивленная улыбка скользнула по ее губам: что-то молодые, с огоньком, глаза смотрели на нее пылливо и весело. Аксинья внимательно, строго рассматривала свое лицо, потом с облегчением вздохнула. Нет, не отцвела еще ее красота! Еще не один казак остановится при встрече и проводит ее ошалелыми глазами!

Оправляя перед зеркалом юбку, она вслух сказала: «Ну, Григорий Пантелевич, держись!» — и, чувствуя, что краснеет, засмеялась тихим, приглушенным смехом. Однако все это не помешало ей найти на висках несколько седых волос и выдернуть их. Григорий не должен был видеть ничего такого, что напоминало бы ему об ее возрасте. Для него она хотела быть такой же молодой, как и семь лет назад.

До обеда она кое-как высидела дома, но потом не выдержала и, накинув на плечи белый, козьего пуха платок, пошла к Мелеховым. Дуняшка была дома одна. Аксинья поздоровалась, спросила:

— Вы не обедали?

— С такими бездомовниками пообедаешь во-время! Муж в Совете, а Гриша ушел в станицу. Детишек уже покормила, жду больших.

Внешне спокойная, ни движением, ни словом не выказав постигнутого ее разочарования, Аксинья сказала:

— А я думала — вы все в сборе. Когда же Гриша... Григорий Пантелевич вернется? Нынче?

Дуняшка окинула быстрым взглядом принаряженную соседку, нехотя сказала:

— Он пошел на регистрацию.

— Когда сулил вернуться?

В глазах Дуняшки сверкнули слезы; запинаясь, она с упреком проговорила:

— Тоже, нашла время... разнаряди-

лась... А того не знаешь — он, может, и не вернется вовсе...

— Как — не вернется?

— Михаил говорит, что его арестуют в станице... — Дуняшка заплакала скупыми, злыми слезами, — вытирая глаза рукавом, выкрикнула: — Будь она проклята, такая жизнь! И когда все это кончится! Ушел, а детишки, как, скажи, они перебесились, — ходу мне не дают: «Куда батянька ушел да когда он придет?». А я знаю? Проводила вон их на баз, а у самой все сердце избелелось... И что это за проклятая жизнь! Нету никакого покоя, хоть криком кричи!..

— Ежли к ночи он не вернется — завтра пойду в станицу, узнаю. — Аксинья сказала это таким безразличным тоном, как будто речь шла о чем-то самом обыденном, что не стоило ни малейшего волнения.

Дивясь ее спокойствию, Дуняшка вздохнула.

— Теперь уж его, видно, не ждать. И на горе он шел сюда!

— Ничего покамест не видно! Ты кричать-то перестань, а то дети подумают. Прощай!

★

Григорий вернулся поздно вечером. Побыв немного дома, он пошел к Аксинье.

Тревога, в которой провела она весь долгий день, несколько притупила радость встречи. Аксинья к вечеру испытывала такое ощущение, как будто работала весь день, не разгиная спины. Подавленная и уставшая от ожидания, она прилегла на кровать, — задремала, но, заслышав шаги под окном, вскочила с живостью девочки.

— Что же ты не сказал, что пойдешь в Вешки? — спросила она, обнимая Григория и расстегивая на нем шинель.

— Не успел сказать, спешил.

— А мы с Дуняшкой открывали, каждая по-врозь, думали, не вернешься. Григорий сдержанно улыбнулся.

— Нет, до этого не дошло. — Помолчал и добавил: — Пока не дошло.

Прихрамывая, он прошел к столу, сел. В раскрытую дверь была видна горни-

ца, широкая деревянная кровать в углу, сундук, тускло отсвечивающий медью оковки. Все здесь осталось таким же, каким было в то время, когда он еще парнем заживал сюда в отсутствие Степана; почти ни в чем он не видел перемен, словно время шло мимо и не заглядывало в этот дом; сохранился даже прежний запах: пахло бражным духом свежих хмелин, чисто вымытыми полами и совсем немного, чуть слышно — увядшим чебрецом. Как-будто совсем недавно Григорий в последний раз на заре выходил отсюда, а на самом деле, как давно все это было...

Он подавил вздох и неспеша стал сворачивать папироску, но почему-то дрогнули руки и он рассыпал на колени табак.

Аксинья торопливо собирала на стол. Холодную лапшу надо было подогреть. Сбегав за щепками в сарай, Аксинья — запыхавшаяся и слегка побледневшая — стала разводить огонь на загнетке. Она дула на мечущие искрами пылающие уголья и успевала поглядывать на сгорбившегося, молча курившего Григория.

— Как твои дела там? Всё управил?

— Всё по-хорошему.

— С чего это Дуняшка взяла, что тебя непременно должны заарестовать? Она и меня-то напугала досмерти.

Григорий поморщился, с досадой бросил папиросу.

— Михаил ей в уши надул. Это он все придумывает, беду на мою голову кличет.

Аксинья подошла к столу. Григорий взял ее за руки.

— А ты знаешь, — сказал он, снизу вверх глядя в ее глаза, — дела мои не дуже нарядные. Я сам думал, как шел в это политбюро, что не выйду оттуда. Как-никак, я дивизией командовал в восстание, сотник по чину. Таких зараз к рукам прибирают.

— Что же они тебе сказали?

— Анкету дали заполнить, бумага такая, всю службу там надо описать. А из меня писарь плохой. Сроду так много не припадало писать, часа два сидел, описывал все свое прохождение. Потом ишо двое в комнату зашли, всё про

восстание расспрашивали. Ничего, обходительные люди. Старший спрашивает: «Чаю не хотите? Только с сахаринном». Какой там, думаю, чай! Хотя бы ноги от вас в целости унести. — Григорий помолчал и презрительно, как о постороннем, сказал: — Жидковат оказался на расплату... Сробел.

Он был зол на себя за то, что там, в Вешенской, струсил и не в силах был побороть охвативший его страх. Ему было вдвойне досадно, что опасения его оказались напрасными. Теперь все пережитое выглядело смешно и постыдно. Он думал об этом всю дорогу и, быть может, потому сейчас рассказывал обо всем этом, высмеивая себя и несколько преувеличивая испытанные переживания.

Аксинья внимательно выслушала его рассказ, затем мягко освободила руку и отошла к печи. Поправляя огонь, она спросила:

— А как же дальше?

— Через неделю опять надо итти, отмечаться.

— Думаешь, тебя все-таки заберут?

— Как видно — да. Рано или поздно возьмут.

— Что же будем делать? Как жить будем, Гриша?

— Не знаю. Давай потом об этом толкуем. Вода у тебя есть умыться?

Они сели ужинать, и снова к Аксинье вернулось то полновесное счастье, которое испытывала она утром. Григорий был тут, рядом с ней; на него можно было смотреть безотрывно, не думая о том, что посторонние подстерегают ее взгляды, можно было говорить глазами все, не таясь и не смущаясь. Господи, как она соскучилась по нем, как истомилось, наскучало по этим большим неласковым рукам ее тело! Она почти не прикасалась к еде; слегка подавшись вперед, смотрела, как жадно жует Григорий, ласкала затуманившимся взглядом лицо его, смуглую, туго обтянутую стоячим воротником гимнастерки шею, широкие плечи, руки, тяжело лежавшие на столе... Она жадно вдыхала исходивший от него смешанный запах терпкого мужского пота и табака, такой знакомый и родной запах, свойственный лишь одно-

му ему. Только по запаху она с завязанными глазами могла бы отличить своего Григория из тысячи мужчин... На щеках ее горел густой румянец, часто и гулко стучало сердце. В этот вечер она не могла быть внимательной хозяйкой, потому что, кроме Григория, не видела ничего вокруг. А он и не требовал внимания: сам отрезал хлеба, поискал глазами и нашел солонку на комельке печи, налил себе вторую тарелку лапши.

— Голодный я, как собака, — слово оправдываясь, с улыбкой сказал он. — С утра ничего не ел.

И только тогда Аксинья вспомнила о своих обязанностях, торопливо вскочила.

— Ох, головушка горькая! Про вареники и про блинцы-то я и забыла! Ешь курятину, пожалуйста! Ешь дюжей, мой родимый!.. Зараз все подам.

Но как же долго и старательно он ел! Как будто его не кормили целую неделю. Угощать его было делом совершенно излишним. Аксинья терпеливо ждала, потом все же не выдержала: села рядом с ним, левой рукой притянула к себе его голову, правой взяла чистый расшитый рушник, сама вытерла возлюбленному замаслившиеся губы и подбородок, и, зажмурив глаза так, что в темноте брызнули оранжевые искорки, не дыша, крепко прижалась губами к его губам.

В сущности, человеку надо очень немного, чтобы он был счастлив. Аксинья во всяком случае, была счастлива в этот вечер.

Глава IX

Григорию тяжело было встречаться с Кошевым. Отношения их определились с первого дня, и разговаривать им было больше не о чем, да и не к чему. По всей вероятности, и Михаилу не доставляло удовольствия видеть Григория. Он нанял двух плотников, и они спешно ремонтировали его хатенку: меняли полусгнившие стропила на крыше, заново перебирали и ставили одну из покосившихся стен, мастерили новые притолоки, рамы и двери.

После возвращения из Вешенской Григорий сходил в хуторской ревком,

предъявил Кошевому свои отмеченные военкоматом воинские документы и ушел, не попрощавшись. Он переселился к Аксинье, забрал с собою детей и кое-что из своего имущества. Дуняшка, провожая его на новое жительство, всплакнула.

— Братушка, не держите на меня сердца, я перед вами не виноватая, — сказала она, умоляюще глядя на брата.

— За что же, Дуня? Нет-нет, что ты, — успокоил ее Григорий. — Заходи нас проводить... Я у тебя один из родни остался, у тебя всегда жалел и зараз жалею... Ну, а муж твой — это другое дело. С тобой мы дружбу не нарушим.

— Мы скоро перейдем из дому, не сердчай.

— Да нет же! — досадливо сказал Григорий. — Живите в доме хотя до весны. Вы мне не помеха, а места мне с ребятами и у Аксиньи хватит.

— Женишься на ней, Гриша?

— С этим успеется, — неопределенно ответил Григорий.

— Бери ее, брат, она хорошая, — решительно сказала Дуняшка. — Покойница маманя говорила, что тебе только ее в жены и брать. Она ее прилюбила последнее время, часто навевдалась к ней перед смертью.

— Ты меня, вроде, как уговариваешь, — улыбаясь сказал Григорий. — На ком же мне, окромя нее, жениться? Не на бабке же Андронихе?

Андрониха была самая древняя старуха в Татарском. Ей давно перевалило за сто. Дуняшка, вспомнив ее крохотную, согнутую до земли фигурку, рассмеялась.

— Скажешь же ты, братушка! Я ить так только спросила. Ты молчишь об этом — я и спросила.

— Уж кого-кого, а тебя на свадьбу позову. — Григорий шутливо хлопнул сестру по плечу и с легким сердцем пошел с родного двора.

По правде сказать, ему было безразлично, где бы ни жить, лишь бы жить спокойно. Но вот этого-то спокойствия он и не находил... Несколько дней он провел в угнетающем бездельи. Попробовал было кое-что смастерить в аксинь-

ином хозяйстве и тотчас почувствовал, что ничего не может делать. Ни к чему не лежала душа. Тягостная неопределенность мучила, мешала жить; ни на одну минуту не покидала мысль, что его могут арестовать, бросить в тюрьму — это в лучшем случае, а не то и расстрелять.

Просыпаясь по ночам, Аксинья видела, что он не спит. Обычно он лежал на спине, закинув за голову руки, смотрел в сумеречную темноту, и глаза у него были холодные и злые. Аксинья знала, о чем он думает. Помочь ему она ничем не могла. Она сама страдала, видя, как ему тяжело, и догадываясь о том, что надежды ее на совместную жизнь снова становятся несбыточными. Она ни о чем его не спрашивала. Пусть он решает все сам. Только раз ночью, когда проснулась и увидела сбоку багряный огонек папиросы, она сказала:

— Гриша, ты все не спишь... Может, ты ушел бы на это время из хутора? Или, может, нам вместе куда-нибудь уехать, скрыться?

Он заботливо прикрыл одеялом ее ноги и нехотя ответил:

— Я подумаю. Ты спи.

— А потом вернулись бы, когда все тут успеется, а?

И снова он ответил неопределенно, так, как будто у него не было никакого решения:

— Поглядим, как оно дальше будет. Спи, Ксюша. — И осторожно и ласково прикоснулся губами к ее голому, шелковистому прохладному плечу.

А на самом деле он уже принял решение: в Вешенскую он больше не пойдет. Напрасно будет ждать его тот человек из политбюро, который принимал его прошлый раз. Он тогда сидел за столом, накинув шинель на плечи, с хрустом потягивался и притворно зевал, слушая его, Григория, рассказ о востании. Больше он ничего не услышит. Все рассказано.

В тот день, когда надо будет отправляться в политбюро, Григорий уйдет из хутора. Если понадобится — надолго. Куда — он еще сам не знал, но уйти решил твердо. Ни умирать, ни сидеть в тюрьме ему не хотелось. Выбор он

сделал, но преждевременно говорить об этом Аксинье не хотел. Незачем было отравлять ей последние дни, они и так были не очень-то веселыми. Об этом надо будет сказать в последний день, так он решил. А сейчас пусть она спит спокойно, уткнувшись лицом в подушку. Она часто за эти ночи говорила: «Хорошо мне спать под твоим крылом». Ну, и пусть спит пока. Недолго ей, бедной, осталось прижиматься к нему...

По утрам Григорий няньчился с детьми, потом бесцельно бродил по хутору. На людях ему было веселее. Както Прохор предложил собраться у Никиты Мельникова, выпить вместе с молодыми казаками-сослуживцами. Григорий решительно отказался. Он знал из разговоров хуторян, что они недовольны продразверсткой и что во время выпивки об этом неизбежно будет итти речь. Ему не хотелось навлекать на себя подозрение, и даже при встречах со знакомыми он избегал разговоров о политике. Хватит с него этой политики, она и так выходила ему боком.

Осторожность была тем более не лишней, что хлеб по продразверстке поступал плохо, и, в связи с этим, трех стариков взяли как заложников, под конвоем двух продотрядников отправили в Вешенскую.

На следующий день возле лавки ЕПО Григорий увидел недавно вернувшегося из Красной Армии бывшего батарейца Захара Крамскова. Он был презрительно пьян, покачивался на ходу, но подойдя к Григорию, застегнул на все пуговицы измазанную белой глиной куртку, хрипло сказал:

— Здравия желаю, Григорий Пантелевич!

— Здравствуй. — Григорий пожал широченную лапу коренастого и крепкого, как вяз, батарейца.

— Угадываешь?

— А как же.

— Помнишь, как в прошлом годе под Боковской наша батарея выручила тебя? Без нас твоей коннице пришлось бы туго. Сколько мы тогда красных положили — страсть! Один раз на удар давали, другой раз шарпанелью... Это я

наводчиком у первого орудия работал! Я! — Захар гулко стукнул кулаком по своей широкой груди.

Григорий покосился по сторонам, — на них смотрели стоявшие неподалеку казаки, вслушивались в происходивший разговор. У Григория дрогнули углы губ, в злобном оскале обнажились белые, плотные зубы.

— Ты пьяный, — сказал он вполголоса, не разжимая зубов. — Иди пропись и не бреши лишнего.

— Нет, я не пьяный! — громко выкрикнул подгулявший батарейец. — Я, может, от горя пьяный! Пришел домой, а тут не жизнь, а б.....! Нету казакам больше жизни, и казаков нету! Сорок пудов хлеба наложили, это — что? Они его сеяли, что накладывают? Они знают, на чем он, хлеб, растет?

Он смотрел бессмысленными, налитыми кровью глазами и вдруг, качнувшись, медвежковато облапил Григория, дохнул в лицо ему густым самогонным перегаром.

— Ты почему штаны без лампасов носишь? В мужики записался? Не пустим! Лапушка моя, Григорий Пантелевич! Перевоевать надо! Скажем, как в прошлом годе: долой коммунию, да здравствует советская власть!

Григорий резко оттолкнул его от себя, прошептал:

— Иди домой, пьяная сволочь! Ты сознаешь, что ты говоришь?!

Крамсков выставил вперед руку с широко растопыренными обкуренными пальцами, бормотнул:

— Извиняй, ежели что не так. Извиняй, пожалуйста, но я тебе истинно говорю, как своему командиру... Как все одно родному отцу-командиру: надо перевоевать!

Григорий молча повернулся, пошел через площадь домой. До вечера он не ходил под впечатлением этой нелепой встречи, вспоминал пьяные выкрики Крамскова, сочувственное молчание и улыбки казаков, думал: «Нет, надо уходить поскорее! Добра не будет...».

В Вешенскую надо было итти в субботу. Через три дня он должен был покинуть родной хутор, но вышло иначе: в четверг ночью, — Григорий уже со-

брался ложиться спать, — в дверь кто-то резко постучал. Аксинья вышла в сени. Григорий слышал, как она спросила: «Кто там?». Ответа он не услышал, но, движимый неясным чувством тревоги, встал с кровати и подошел к окну. В сенях звякнула щеколда. Первой вошла Дуняшка. Григорий увидел ее бледное лицо, и, еще ни о чем не спрашивая, взял с лавки папаху и шинель.

— Братушка...

— Что? — тихо спросил он, надевая в руку шинель.

Задыхаясь, Дуняшка торопливо сказала:

— Братушка, уходи зараз же! К нам приехали четверо конных из станицы. Сидят в горнице... Они говорили шепотом, но я слышала... Стояла под дверью и все слышала. Михаил говорит — тебя надо арестовать... Рассказывает им про тебя... Уходи!

Григорий быстро шагнул к ней, обнял, крепко поцеловал в щеку.

— Спасибо, сестра! Ступай, а то заметят, что ушла. Прощай, — и повернулся к Аксинье: — Хлеба! Скорей! Да не целый, краюху!

Вот и кончилась его недолгая мирная жизнь... Он действовал как в бою, поспешно, но уверенно: прошел в горницу, осторожно поцеловал спавших детишек, обнял Аксинью.

— Прощай! Скоро подам вестку, Прохор скажет. Береги детей. Дверь запри. Спросят — скажи ушел в Вешки. Ну, прощай, не горюй, Ксюша! — Целуя ее, он ощутил на губах теплую, соленую влагу слез.

Ему некогда было утешать и слушать беспомощный, несвязный лепет Аксиньи. Он легонько рознял обнимавшие его руки, шагнул в сени, прислушался и рывком распахнул наружную дверь. Холодный ветер с Дона плеснулся ему в лицо. Он на секунду закрыл глаза, осваяясь с темнотой.

Аксинья слышала сначала, как похрустывает снег под ногами Григория. И каждый шаг отдавался острой болью в ее сердце. Потом звук шагов затих и хрястнул плетень. Потом стало вовсе тихо, только ветер шумел за Доном в лесу.

Аксинья пыталась услышать что-нибудь сквозь шум ветра, но ничего не услышала. Ей стало холодно. Она вошла в кухню и потушила лампу.

Глава X

Поздней осенью 1920 года, когда в связи с плохим поступлением хлеба по продразверстке были созданы продовольственные отряды, среди казачьего населения Дона началось глухое брожение. В верховых станицах Донской области — в Шумилинской, Казанской, Мигулинской, Мешковской, Вешенской, Еланской, Слащевской и других — появились небольшие вооруженные банды. Это было ответом зажиточной части казачества на создание продовольственных отрядов, на усилившиеся мероприятия советской власти по проведению продразверстки.

В большинстве своем банды — каждая численностью от пяти до двадцати штыков — состояли из местных жителей-казачков, в прошлом активных белогвардейцев. Среди них были: служившие в 18—19 годах в карательных отрядах, уклонившиеся от сентябрьской мобилизации младшего командного состава урядники, вахмистры и подхорунжие бывшей Донской армии, повстанцы, прославившиеся ратными подвигами и расстрелами пленных красноармейцев во время прошлогоднего восстания в Верхне-Донском округе, словом, люди, которым с советской властью было не по пути.

Они нападали в хуторах на продовольственные отряды, возвращали следовавшие на ссыпункты обозы с хлебом, убивали коммунистов и преданных советской власти беспартийных казаков, боролись, как могли и умели.

Задача ликвидации банд была возложена на караульный батальон Верхне-Донского округа, расквартированный в Вешенской и в хуторе Базках. Но все попытки уничтожить банды, рассеянные по обширной территории округа, оказались безуспешными — во-первых, потому, что местное население относилось к бандитам сочувственно, снабжало их продовольствием и сведениями о пере-

движении красноармейских частей, а также укрывало от преследования, и, во-вторых, потому, что командир батальона Капарин, бывший штабс-капитан царской армии и эсер, не хотел уничтожения недавно народившихся на верхнем Дону контрреволюционных сил и всячески препятствовал этому. Лишь время от времени, и то под нажимом председателя Окружного комитета партии, он предпринимал короткие вылазки — и снова возвращался в Вешенскую, ссылаясь на то, что он не может распылять сил и итти на неразумный риск, оставляя без должной охраны Вешенскую с ее окружными учреждениями и складами. Батальон, насчитывавший около четырехсот штыков при четырнадцати пулеметах, нес гарнизонную службу: красноармейцы караулили арестованных, возили воду, рубили деревья в лесу, а также собирали, в порядке трудовой повинности, чернильные орешки с дубовых листьев для изготовления чернил. Дровами и чернилами батальон успешно снабжал все многочисленные окружные учреждения и канцелярии, а тем временем количество мелких банд по округу угрожающе росло. И только в декабре, когда началось крупное восстание на территории смежного с Верхне-Донским округом Богучарского уезда Воронежской губернии, поневоле прекратились и заготовка лесоматериалов и сбор чернильных орешков. Приказом командующего войсками Донской области батальон в составе трех рот и пулеметного взвода, совместно с караульным эскадроном, 1-м батальоном 12-го продовольственного полка и двумя небольшими заградительными отрядами, был послан на подавление этого восстания.

В бою на подступах к селу Сухой Донец вешенский эскадрон под командованием Якова Фомина атаковал цепи повстанцев с фланга, смял их, обратил в бегство и вырубил при преследовании около ста семидесяти человек, потеряв всего лишь трех бойцов. В эскадроне, за редким исключением, все были казаки — уроженцы верховых станиц Дона. Они и здесь не изменили вековым казачьим традициям: после боя, несмотря

на протесты двух коммунистов эскадрона, чуть ли не половина бойцов сменила старенькие шинели и теплушки на добротные дубленые полушубки, снятые с порубленных повстанцев.

Через несколько дней после подавления восстания эскадрон был отозван в станицу Казанскую. Отдыхая от тягот военной жизни, Фомин развлекался в Казанской как мог. Завзятый бабник, веселый и общительный гуляка — он пропадал по целым ночам и приходил на квартиру только перед рассветом. Бойцы, с которыми Фомин держал себя за панибрата, завидев вечером на улице своего командира в ярко начищенных сапогах, понимающе перемигивались, говорили:

— Ну, пошел наш жеребец по жалмеркам! Теперь его только заря выкинет.

Тайком от комиссара и политрука эскадрона Фомин захаживал и на квартиры к знакомым казакам-эскадронцам, когда ему сообщали, что есть самогон и предстоит выпивка. Случалось это не редко. Но вскоре бравый командир заскучал, помрачнел и почти совсем забыл о недавних развлечениях. По вечерам он уже не начищал с прежним старанием своих высоких щегольских сапог, перестал ежедневно бриться, впрочем, на квартиры к хуторянам, служившим в его эскадроне, изредка заходил, чтобы посидеть и выпить, но в разговорах оставался немногословным.

Перемена в характере Фомина совпала с сообщением, полученным командиром отряда из Вешенской: политбюро Донечка коротко информировало о том, что в Михайловке, соседнего Усть-Медведицкого округа, восстал караульный батальон во главе с командиром батальона Вакулиным.

Вакулин был сослуживцем и другом Фомина. Вместе с ним они были некогда в корпусе Миронова, вместе шли из Саранска на Дон и вместе, в одну кучу, костром сложили оружие, когда мятежный мироновский корпус окружила конница Буденного... Дружеские отношения между Фоминым и Вакулиным существовали до последнего времени. Совсем недавно, в начале сентября, Вакулин приезжал

в Вешенскую, и еще тогда он скрипел зубами и жаловался старому другу на «засилие комиссаров, которые разоряют хлеборобов подразверсткой и ведут страну к гибели». В душе Фомин был согласен с высказываниями Вакулина, но держался осторожно, с хитрецей, часто заменявшей ему отсутствие природного ума. Он вообще был осторожным человеком, никогда не торопился и не говорил сразу ни да, ни нет. Но вскоре, после того, как он узнал о востании вакулинского батальона, всегдашняя осторожность ему изменила. Как-то вечером, перед выступлением эскадрона в Вешенскую, на квартире взводного Алферова собрались эскадронцы. Огромная конская цыбарка была полна самогоном. За столом шел оживленный разговор. Присутствовавший на этой попойке Фомин молча вслушивался в разговоры и так же молча черпал из цыбарки самогон. Но когда один из бойцов стал вспоминать, как ходили в атаку под Сухим Донцом, — Фомин, задумчиво покручивая ус, прервал рассказчика:

— Рубили мы, ребята, хохлов неплохо, да как бы самим вскорости не пришлось горевать... Что, как приедем в Вешенскую, а там у наших семей продотряды весь хлебец выкачали? Казанцы шибко обижаются на эти продотряды. Гребут они из закровов чисто, под метло...

В комнате стало тихо. Фомин оглядел своих эскадронцев и, натянуто улыбаясь, сказал:

— Это я — шутейно... Глядите, языками не надо трепать, а то из шутки чорт-те чего сделают.

По возвращении в Вешенскую Фомин сопровождаемый полувзводом красноармейцев, поехал домой, в хутор Рубежный. В хуторе, не заезжая к себе во двор, он спешил около ворот, кинул поводья одному из красноармейцев, пошел в дом.

Он холодно кивнул жене, низко поклонился старухе-матери и за руку почтительно поздоровался с ней, обнял детишек.

— А где же батя? — спросил он, присев на табурет, ставя между колен шапку.

— Уехал на мельницу, — ответила старуха и, глянув на сына, строго приказала: — Шапку-то сыми, нехристь! Кто же под образа садится в шапке? Ох, Яков, не сносишь тебе головы...

Фомин неохотно улыбнулся, снял кубанку, но раздеваться не стал.

— Чего же не раздеваешься?

— Я заскочил на минутку проведать вас, все некогда за службой.

— Знаем мы твою службу... — сурово сказала старуха, намекая на беспутное поведение сына, на связи его с женщинами в Вешенской.

Слух об этом давно уже прошел по Рубежному.

Преждевременно постаревшая, бледная, забитая с виду жена Фомина испуганно взглянула на свекровь, отошла к печи. Чтобы хоть чем-нибудь угодить мужу, чтобы снискать его расположение и удостоиться хотя бы одного ласкового взгляда, она взяла из-под загнетки тряпку, стала на колени и, согнувшись, начала счищать густую грязь, прилипшую к сапогам Фомина.

— Сапоги-то какие на тебе добрые, Яша... Замазал ты их дюже... Я зарав вытру их, чисточко вытру! — почти беззвучно шептала она, не поднимая головы, ползая на коленях у ног мужа.

Он давно не жил с ней и давно не испытывал к этой женщине, которую когда-то в молодости любил, ничего, кроме легкой, презрительной жалости. Но она всегда любила его и, втайне надеясь, что когда-нибудь он снова вернется к ней, — прощала все. Долгие годы она вела хозяйство, воспитывала детей, во всем старалась угодить своенравной свекрови. Вся тяжесть полевых работ ложилась на ее худые плечи. Непосильный труд и болезнь, начавшаяся после вторых родов, из года в год подтачивали ее здоровье. Она исхудала. Лицо ее поблекло. Преждевременная старость раскинула на щеках паутину морщин. В глазах появилось то выражение испуганной покорности, которое бывает у больных умных животных. Она сама не замечала того, как быстро она старится, как с каждым днем тает ее здоровье, и все еще на что-то надеялась, при редких встречах поглядывала на своего

красавца-мужа с робкой любовью и восхищением...

Фомин смотрел сверху вниз на жалко согнутую спину жены с резко очерченными под кофточкой худыми лопатками, на ее большие дрожащие руки, старательно счищавшие грязь с его сапог, думал: «Хороша, нечего сказать! И с такой холерой я когда-то спал... Хотя она здорово постарела... До чего же она все-таки постарела!».

— Хватит тебе! Все одно вымажу, — с досадой сказал он, высвобождая ноги из рук жены.

Она с усилием распрямила спину, встала. На желтых щеках ее проступил легкий румянец. Столько любви и собачьей преданности было в ее обращенных на мужа увлажнившихся глазах, что он отвернулся, спросил у матери:

— Ну, как вы тут живете?

— Всё так же, — хмуро ответила старуха.

— Продотряд был в хуторе?

— Только вчера выехали в Нижне-Кривской.

— У нас хлеб брали?

— Взяли. Сколько они насыпали, Давыдушка?

Пожойж на отца четырнадцатилетний подросток, с такими же широко поставленными голубыми глазами, ответил:

— Дедуня при них был, он знает. Кажись, десять чувалов.

— Та-а-ак... — Фомин встал, коротко взглянул на сына, оправил портупею. Он слегка побледнел, когда спрашивал: — Говорили вы им, чей они хлеб берут?

Старуха махнула рукой и не без злодства улыбнулась.

— Они об тебе не дюже понимают! Старший ихний говорит: «Все без разбору должны сдавать хлебные лишки. Нехай он хоть Фомин, хоть сам окружной председатель, — все одно лишний хлеб возьмем!». С тем и начали по закромам шарить.

— Я с ними, мамаша, сочтусь. Я сочтусь с ними! — глухо проговорил Фомин и, наскоро попрощавшись с родными, вышел.

После поездки домой он осторожно стал разведывать о настроении бойцов

своего эскадрона и без особого труда убедился в том, что в большинстве своем они недовольны продрозверсткой. К ним приезжали из хуторов и станиц жены, дальние и близкие родственники; привозили рассказы о том, как продотрядники производят обыски, забирают весь хлеб, оставляя только на семена и на продовольствие. Все это привело к тому, что в конце января на гарнизонном собрании, происходившем в Базах, во время речи окружного военкома Шахаева эскадронцы выступили открыто. Из рядов их раздались возгласы:

— Уберите продотряды!

— Пора кончать с хлебом!

— Долой продовольственных комиссаров!

В ответ им красноармейцы караульной роты кричали:

— Контры!

— Расформировать сволочей!

Собрание было длительным и бурным. Один из немногочисленных коммунистов гарнизона взволнованно сказал Фомину:

— Надо тебе выступить, товарищ Фомин! Смотри, какие номера откалывают твои эскадронцы!

Фомин незаметно улыбнулся в усы.

— Я же беспартийный человек, разве они меня послушают?

Отмолчавшись, он ушел задолго до конца собрания вместе с командиром батальона Капариним. По дороге в Вешенскую они заговорили о создавшемся положении и очень быстро нашли общий язык. Через неделю Капарин на квартире у Фомина, с глазу на глаз, говорил ему:

— Либо мы выступим сейчас, либо не выступим никогда, так ты это и знай, Яков Ефимович! Надо пользоваться моментом. Сейчас он очень удобен. Казаки нас поддержат. Авторитет твой в округе велик. Настроение у населения — лучше и придумать нельзя. Что же ты молчишь? Решайся!

— Чего ж тут решаться? — медленно, растягивая слова и глядя исподлобья, проговорил Фомин. — Тут дело решенное. Надо только такой план сработать, чтобы все вышло без заминки, чтобы комар носу не подточил. Об этом и давай говорить.

Подозрительная дружба Фомина с Капариним не осталась незамеченной. Несколько коммунистов из батальона устроили за ними слежку, сообщили о своих подозрениях начальнику политбюро Дончека Артемьеву и военкому Шахаеву.

— Пуганая ворона куста боится, — смеясь, сказал Артемьев. — Капарин этот — трус, да разве он на что-либо решится? За Фоминым будем смотреть, он у нас давно на примете, только едва ли и Фомин отважится на выступление. Ерунда все это, — решительно заключил он.

Но смотреть было уже поздно: заговорщики успели столкнуться. Восстание должно было начаться 12 марта в 8 утра. Было условлено, что в этот день Фомин выведет эскадрон на утреннюю поездку в полном вооружении, а затем внезапно атакует расположенный на окраине станции пулеметный взвод, захватит пулеметы и после этого поможет караульной роте провести «чистку» окружных учреждений.

У Капарина были сомнения, что батальон не полностью его поддержит. Как-то он высказал это предположение Фомину. Тот внимательно выслушал, сказал:

— Лишь бы пулеметы захватить, а батальон твой мы после этого враз умирим...

Тщательное наблюдение, установленное за Фоминым и Капариним, ничего не дало. Встречались они редко, и то лишь по служебным делам, и только в конце февраля однажды ночью патруль увидел их на улице вдвоем. Фомин вел в поводу оседланного коня, Капарин шел рядом. На оклик Капарин отозвался: «Свой». Они зашли на квартиру к Капарину. Коня Фомин привязал к перилам крыльца. В комнате огня не зажигали. В четвертом часу утра Фомин вышел, сел верхом на коня и поехал к себе. Вот все, что удалось установить.

нировавший снятие Фомина и Капарина с должностей и их арест.

На совещании бюро Окружного комитета партии было решено: известить Фомина приказом окрвоенкомата, что он отзывается в Новочеркасск, в распоряжение командующего войсками, предложить ему передать командование эскадроном своему помощнику Овчинникову; в тот же день эскадрон выслать в Казанскую под предлогом появления там банды и после этого ночью произвести арест заговорщиков. Вывести эскадрон из станции было решено из опасения, как бы эскадрон не восстал, узнав об аресте Фомина. Командиру второй роты караульного батальона коммунисту Ткаченко было предложено предупредить коммунистов батальона и взводных командиров о возможности восстания и привести в боевую готовность находившиеся в станции роту и пулеметный взвод.

Утром на следующий день Фомин получил приказ.

— Ну, что ж, принимай эскадрон, Овчинников. Поеду в Новочеркасск, — сказал он спокойно. — Отчетность будешь глядеть?

Никем не предупрежденный, ничего не подозревая, беспартийный командир взвода Овчинников углубился в бумагу.

Фомин, уловив минуту, написал Капарину записку: «Выступаем нынче. Меня снимают. Готовься». В сенях он передал записку своему ординарцу, шепнул:

— Положи записку за щеку. Шагом, понял? Шагом езжай к Капарину. Если кто будет тебя по дороге останавливать — записку проглоти. Отдашь ему и зараз же вертайся сюда.

Получив приказ о выступлении в станицу Казанскую, Овчинников на церковной площади выстроил эскадрон к походу. Фомин подъехал верхом к Овчинникову:

— Вы меня, товарищи, знаете. Знаете, за что я всегда боролся. Я всегда был вместе с вами. Но зараз я не могу мириться, когда грабят казачество, грабят вообще хлеборобов. Вот за это меня и сняли. А что сделают со мной — это я знаю. Поэтому и хочу с вами протиться...

Шум и выкрики в эскадроне на секунду прервали речь Фомина. Он встал на стременах, резко повысил голос:

— Ежли хотите избавиться от грабежа — гоните отсюда продотряды, бейте продкомиссаров Мурзовых и комиссаров Шахаевых! Они приехали к нам на Дон...

Шум покрыл последние слова Фомина. Выждав момент, он зычно подал команду:

— Справа по три, направо шагом арш!

Эскадрон послушно выполнил команду. Овчинников, ошарашенный всем случившимся, подскакал к Фомину.

— Вы куда, товарищ Фомин?

Не поворачивая головы, тот насмешливо ответил:

— А вот вокруг церкви пообедем...

И только тогда до сознания Овчинникова дошло все происшедшее за эти немногие минуты. Он выехал из строя; политрук, помощник комиссара и всего лишь один красноармеец последовали за ним. Фомин заметил их отсутствие, когда они отъехали шагов на двести. Повернув лошадь, он крикнул:

— Овчинников, стой!..

Четверо всадников с легкой рыси перешли на галоп. Из-под копыт их лошадей во все стороны полетели комья талого снега. Фомин scomандовал:

— Ружья к бою! Поймать Овчинникова!.. Первый взвод! вдогон!..

Беспорядочно зазвучали выстрелы. Человек шестнадцать из первого взвода устремились в погоню. Тем временем Фомин разбил оставшихся эскадронцев на две группы: одну во главе с командиром третьего взвода послал обезоружить пулеметный взвод, другую — сам повел к расположению караульной роты, помещавшейся на северной окраине

станции, в бывших конюшнях станичных жеребцов.

Первая группа, стреляя в воздух и помахивая клинками, поскакала по главной улице. Изрубив попавшихся на пути четырех коммунистов, мятежники на краю станции спешно построились и молча, без крика, пошли в атаку на выбежавших из дома красноармейцев пулеметного взвода.

Дом, в котором помещался пулеметный взвод, стоял на отшибе. Расстояние от него до крайних дворов станции не превышало ста сажен. Встреченные пулеметным огнем в упор, мятежники круто повернули обратно. Трое из них, не доскакав до ближайшего переулка, были пулями сбиты с лошадей. Пулеметчиков захватить врасплох не удалось. Вторичной попытки мятежники не предприняли. Командир третьего взвода Чумаков отвел свою группу за прикрытие; не слезая с коня, осторожно выглянул из-за угла каменного сарая. сказал:

— Ну, выкатили еще два максима.— Потом вытер палахой потный лоб и повернулся к бойцам:— Поехали назад, ребята!.. Нехай сам Фомин берет пулеметчиков. Сколькo у нас на снегу осталось, трое? Ну, вот, нехай он сам попробует.

Как только на восточной окраине станции началась стрельба, командир роты Ткаченко выскочил из квартиры,—на ходу одеваясь, побежал к казарме. Человек тридцать красноармейцев уже стояли возле казармы, выстроившись в шеренгу. Командира роты встретили недоуменными вопросами:

— Кто стреляет?

— В чем дело?

Не отвечая, он молча пристраивал к шеренге выбежавших из казармы красноармейцев. Несколько коммунистов— работников окружных учреждений — почти одновременно с ним прибежали к казарме и стали в строй. По станции трещали разрозненные винтовочные выстрелы. Где-то на западной окраине гулко ухнула ручная граната. Завидев с полсотни всадников, скакавших с обнаженными шашками по направлению к казарме, Ткаченко неспеша вынул из

кобуры наган. Он не успел подать команду: в шеренге разом смолкли разговоры, и красноармейцы взяли винтовки на изготовку.

— Да это свои бегут! Глядите, вон наш комбат товарищ Капарин!— крикнул один красноармеец.

Всадники, вырвавшись из улицы, дружно, как по команде, пригнулись к шеям лошадей и устремились к казарме.

— Не пускай!—резко крикнул Ткаченко.

Покрывая его голос, грохнул залп. В ста шагах от сомкнутой шеренги красноармейцев четыре всадника свалились с лошадей, остальные в беспорядке, рассыпавшись, повернули обратно. Вслед им часто лопались, трещали разрозненные выстрелы. Один из всадников, как видно легко раненный, сорвался с седла, но повод из руки не выпустил. Сажень десять волочился он за шедшей карьером лошадью, а потом вскопил на ноги, ухватился за стремя, за заднюю луку седла и через какой-то незаметный миг очутился уже на лошади. Яростно дернув повод, он на всем скаку круто повернул, скрылся в ближайшем переулке.

Эскадронцы первого взвода после безрезультатной погони за Овчинниковым вернулись в станицу. Поиски комиссара Шахаева не привели ни к чему. Ни в опустевшем военкомате, ни на квартире его не оказалось. Услышав стрельбу, он бросился к Дону, перебежал по льду в лес, оттуда—в хутор Базки и на другой день очутился уже за пятьдесят верст от Вешенской, в станице Усть-Хоперской.

Большинство руководящих окружных работников успели во-время спрятаться. Искать их было небезопасно, так как красноармейцы пулеметного взвода с ручными пулеметами подошли к центру станицы и держали под обстрелом все прилегающие к главной площади улицы.

Эскадронцы прекратили поиски, спустились к Дону и наметом прискакали к церковной площади, откуда начали погоню за Овчинниковым. Вскоре там собрались все фоминцы. Они снова стали в строй. Фомин приказал выста-

вить сторожевое охранение, остальным бойцам расположиться по квартирам, но лошадей не расседлывать.

Фомин и Капарин, а также командиры взводов уединились в одном из окраинных домишек.

— Все проиграно!—в отчаянии воскликнул Капарин, обессиленно рухнув на скамью.

— Да, станицу не взяли, стало быть нам тут не удержаться, — тихо сказал Фомин.

— Надо, Яков Ефимович, махнуть по округу. Чего нам теперича робеть? Все одно раньше смерти не помрем. Подыдем казаков, а тогда и станица будет наша, — предложил Чумаков.

Фомин молча посмотрел на него, повернулся к Капарину.

— Раскис, ваше благородие? Утри сопли! Раз взялся за гуж, не говори, что не дюж. Вместе начинали, давай вместе и вытягивать... Как, по-твоему—уходить из станицы или ишо разок попробовать?

Чумаков резко сказал:

— Нехай пробуют другие! Я на пулеметы в лоб не пойду. Пустое это занятие.

— Я у тебя не спрашиваю, цыц!—Фомин глянул на Чумакова, и тот опустил глаза.

После недолгого молчания Капарин сказал:

— Да, конечно, теперь уже бессмысленно начинать второй раз. У них превосходство в вооружении. У них четырнадцать пулеметов, а у нас ни одного. И людей у них больше... Надо уходить и организовывать казаков на восстание. Пока им подбросят подкрепления — весь округ будет охвачен восстанием. Только на это и надежда. Только на это!

После долгого молчания Фомин сказал:

— Что ж, на том придется и решиться. Взводные! Зараз же проверьте снаряжение, подсчитайте, сколько у каждого на руках патронов. Строгий приказ: ни одного патрона зря не расходовать. Первого же, кто ослушается, зарублю самолично. Так и передайте бойцам.— Он помолчал и злобно стук-

нул по столу огромным кулаком.— Эх, л..... пулеметы! А все ты, Чумаков! Хотя бы штуки четыре отбить! Зараз они, конечно, выставят нас из станицы... Ну, расходишь! Ночую, ежели не выбьют нас, в станице, а на рассвете выступим, пройдемся по округу...

Ночь прошла спокойно. На одном краю Вешенской находились восставшие эскадронцы, на другом— караульная рота и влившиеся в нее коммунисты и комсомольцы. Всего лишь два квартала разделяли противников, но ни одна сторона не отважилась на ночное наступление.

Утром мятежный эскадрон без боя покинул станицу и ушел в юго-восточном направлении.

Глава XI

Первые три недели после ухода из дому Григорий жил в хуторе Верхне-Кривском Еланской станицы у знакомого казака-полчанина. Потом ушел в хутор Горбатовский, там у дальнего родственника Аксиньи прожил месяц с лишним.

Целыми днями он лежал в горнице, во двор выходил только по ночам. Все это было похоже на тюрьму. Григорий изнывал от тоски, от гнетущего безделья. Его неудержимо тянуло домой— к детям, к Аксинье. Часто во время бессонных ночей он надевал шинель, с твердым решением итти в Татарский,— и всякий раз, пораздумав, раздевался, со стоном падал на кровать вниз лицом. Под конец так жить стало невагогу. Хозяин, доводившийся Аксинье двоюродным дядей, сочувствовал Григорию, но и он не мог держать у себя такого постояльца бесконечно. Однажды Григорий, после ужина пробравшись в свою комнату, услышал разговор. Тонким от ненависти голосом хозяйка спрашивала:

— Когда же это кончится?

— Что? Об чем ты гутаришь?— баском отвечал ей хозяин.

— Когда ты этого дурноеда сбудешь с рук?

— Молчи!

— Не буду молчать! У самих хлеба осталось — кот заплакал, а ты его, чор-

та горбатого, содержишь, кормишь каждый день. До каких пор это будет, я у тебя спрашиваю? А ежели Совет дознается? С нас головы посымают, детей осиротят!

— Молчи, Авдотья!

— Не буду молчать! У нас— дети! У нас хлеба осталось не боле двадцати пудов, а ты прикормил в доме этого дармоеда! Кто он тебе доводится? Родный брат? Сват? Кум? Он тебе и близко не родня! Он тебе — двоюродный кисель на троюродной воде, а ты его содержишь, кормишь, поишь. У-у, чорт лысый! Молчи, не гавкай, а то завтра сама пойду в Совет и заявлю, какой цветок у тебя в доме кохается!

На другой день хозяин вошел к Григорию в комнату, — глядя на половицы, сказал:

— Григорий Пантелеевич! Как хочешь суди, а больше тебе жить у меня нельзя... Я тебя уважаю, и родителя твоего покойного знал и уважал, но зараз мне тяжело содержать тебя на хлебником... Да и опасюсь, как бы власть не дозналась про тебя. Иди, куда хочешь. У меня семья. Голову из-за тебя мне закладывать неохота. Прости, ради христа, но ты нас избавь...

— Хорошо,— коротко сказал Григорий.— Спасибо за хлеб-соль, за приют. Спасибо за все. Я сам вижу, что в тягость тебе, но куда же мне деваться? Все ходы у меня закрытые.

— Куда знаешь.

— Ладно. Нынче уйду. Спасибо тебе, Артамон Васильевич, за все.

— Не стоит, не благодари.

— Я твою доброту не забуду. Может, и я тебе чем-нибудь когда-нибудь сгожусь.

Растроганный хозяин хлопнул Григория по плечу.

— Об чем там толковать! По мне, ты хотя бы ишо два месяца жил, да баба не велит, ругается кажин день, проклятая! Я казак, и ты казак, Григорий Пантелеевич; мы с тобой обое против советской власти, и я тебе пособлю: ступай нынче на хутор Ягодный, там мой сват живет, он тебя примет. Скажи ему моим словом: Артамон ве-

лит принять тебя, как родного сына, кормить и содержать, пока силов хватит. А там мы с ним сочтемся. Но ты только уходи от меня нынче же. Мне больше тебя держать нельзя, тут-таки баба одолевает, а тут опасаясь, как бы Совет не прознал... Пожил, Григорий Пантелевич, и хватит. Мне своя голова тоже дорогая...

Поздней ночью Григорий вышел из хутора и не успел дойти до стоявшего на бугре ветряка, как трое конных, выросших словно из-под земли, остановили его:

— Стой, сукин сын! Ты кто такой?

У Григория дрогнуло сердце. Он молча остановился. Бежать было безрассудно. Около дороги — ни ярка, ни кустика: пустая, голая степь. Он не успел бы сделать и двух шагов.

— Коммунист? Иди назад, в гроб твою мать! А ну, живи!

Второй, наезжая на Григория конем, приказал:

— Руки! Руки из карманов! Вынай, а то голову срублю!

Григорий молча вынул руки из карманов шинели и, еще не совсем ясно осознавая, что с ним произошло и что это за люди, остановившие его, — спросил:

— Куда итти?

— В хутор. Вертай назад.

До хутора его сопровождал один всадник, двое остальных на выгоне отделились, поскакали к шляху. Григорий шел молча. Выйдя на дорогу, он замедлил шаг, спросил:

— Слухай, дядя, вы кто такие есть?

— Иди, иди! Не разговаривай! Руки заложил назад, слышишь?!

Григорий молча повиновался. Немного спустя снова спросил:

— Нет, все-таки, кто вы такие?

— Православные.

— Я и сам не старовер.

— Ну, и радуйся.

— Ты куда меня ведешь?

— К командиру. Иди, ты, гад, а то я тебя...

Конвойный легонько ткнул Григория острием шашки. Тонко отточенное, холодное, стальное жало коснулось голой шеи Григория, как-раз между воротни-

ком шинели и папашой, и в нем, как искра, на миг вспыхнуло чувство испуга, сменившееся бессильным гневом. Подняв воротник, вполборота глянув на конвойного, он сказал сквозь зубы:

— Не дури, слышишь? А то как бы я у тебя эту штуку не отобрал...

— Иди, подлюка, не разговаривай! Я тебе отберу! Руки назад!

Григорий шага два ступил молча, потом сказал:

— Я и так молчу, не ругайся. Подумаешь, дерьмо какое...

— Не оглядывайся!

— Я и так не оглядываюсь.

— Молчи, иди шибче!

— Может, рысью побечь? — спросил Григорий, смахивая с ресниц налипающие снежинки.

Конвойный молча тронул коня. Лошадина влажная от пота и ночной сырости грудь толкнула Григория в спину, возле ног его конское копыто с чавканьем продавило талый снег.

— Потихе! — воскликнул Григорий, упираясь ладонью в конскую грудь.

Конвойный поднял на уровень головы шашку, негромко сказал:

— Ты иди, сучий выб....., и не разговаривай, а то я тебя не доведу до места. У меня на это рука легкая. Цыц, и ни слова больше!

До самого хутора они молчали. Около крайнего двора конный придержал лошадь, сказал:

— Иди вот в эти ворота.

Григорий вошел в настежь распахнутые ворота. В глубине двора виднелся просторный крытый железом дом. Под навесом сарая фыркали и звучно жевали лошади. Возле крыльца стояло человек шесть вооруженных людей. Конвойный вложил в ножны шашку, сказал, спешиваясь:

— Иди в дом, по порошкам прямо, первая дверь налево. Иди, не оглядывайся, сколько разов тебе говорить!

Григорий медленно поднимался по ступенькам крыльца. Стоявший у перил человек в буденновке и длинной кавалерийской шинели спросил:

— Поймали, что ли?

— Поймали, — неохотно ответил знакомый Григорию сильный голос его конвоира. — Возле ветряка взяли.

— Секретарь ячейки или кто он такой?

— А хрен его знает. Какая-то сволочуга, а кто он такой — зараз узнаем.

«Либо это банда, либо вешенские чекисты мудрят, притворяются. Попался! Попался, как дурак», — думал Григорий, нарочно мешкаясь в сенях, пытаясь собраться с мыслями.

Первый, кого он увидел, открыв дверь, — был Фомин. Он сидел за столом в окружении многих одетых в военное незнакомых Григорию людей. На кровати навалом лежали шинели и полушубки, карабины стояли возле лавки, рядком; здесь же на лавке в беспорядочную кучу были свалены шашки, патронташи, подсумки и седельные саквы. От людей, от шинелей и снаряжения исходил густой запах конского пота.

Григорий снял папаху, негромко сказал:

— Здравствуйте!

— Мелехов! Вот уж воистину степь широкая, а дорога узкая! Пришлось-таки опять увидиться! Откудова ты взялся? Раздевайся, проходи, садись.— Фомин встал из-за стола, подошел к Григорию, протягивая руку. — Ты чего тут околачивался?

— По делу пришел.

— По какому делу? Далековато ты забрался... — Фомин пытливо рассматривал Григория. — Говори по правде — спасался тут, что ли?

— Это — вся и правда, — нехотя улыбаясь, ответил Григорий.

— Где же тебя мои ребята сцапали?

— Возле хутора.

— Куда шел?

— Куда глаза глядят...

Фомин еще раз внимательно посмотрел Григорию в глаза и улыбнулся.

— Ты, я вижу, думаешь, что мы тебя словили и в Вешки повезем? Нет, брат, нам туда дорога заказанная... Не робей! Мы перестали советской власти служить. Не ужились с ней...

— Развод взяли, — пробасил молодой казак, куривший возле печи.

Кто-то из сидевших за столом громко засмеялся.

— Ты ничего про меня не слышал? — спросил Фомин.

— Нет.

— Ну, садись за стол, погутаим. Щей и мяса нашему гостю!

Григорий не верил ни одному слову Фомина. Бледный и сдержанный, он разделся, присел к столу. Ему хотелось курить, но он вспомнил, что у него уже вторые сутки нет табаку.

— Покурить нечего? — обратился он к Фомину.

Тот услужливо протянул кожаный портсигар. От внимания его не ускользнуло, что пальцы Григория, бравшие папиросу, мелко вздрагивали, и Фомин снова улыбнулся в рыжеватые волнистые усы.

— Против советской власти мы восстали. Мы — за народ и против продавшей и комиссаров. Они нам долго головы дурили, а теперь мы им будем дурить. Понятно тебе, Мелехов?

Григорий промолчал. Он закурил, несколько раз подряд торопливо затянулся. У него слегка закружилась голова и к горлу подступила тошнота. Он плохо питался последний месяц и только сейчас почувствовал, как ослабел за это время. Потушив папиросу, он жадно принялся за еду. Фомин коротко рассказал о восстании, о первых днях буждения по округу, высокопарно именуя свои скитания «рейдом». Григорий молча слушал и, почти не прожевывая, глотал хлеб и жирную плохо сваренную баранину.

— Однако отощал ты в гостях, — добродушно посмеиваясь, сказал Фомин.

Икая от пресыщения, Григорий буркнул:

— Жил-то не у тещи.

— Оно и видно. Ешь дюжей, наедайся сколько влезет. Мы — хозяева не скупые.

— Спасибо. Вот покурить бы раз... — Григорий взял предложенную ему папиросу, подошел к стоявшему на лавке чугуну и, отодвинув деревянный кружок, зачерпнул воды. Она была студеная и слегка солоноватая на вкус. Опыневший от еды Григорий с жад-

ностью выпил две больших кружки воды, после этого с наслаждением закурил.

— Казаки нас не джуге привечают,— продолжал рассказывать Фомин, подсаживаясь к Григорию. — Нашарахали их в прошлом году во время восстания... Однако добровольцы есть. Человек сорок вступило. Но нам не это требуется. Нам надо весь округ поднять, да чтобы и соседние округа, Хоперский и Усть-Медведицкий, подсобили. Вот тогда мы потолкуем по душам с советской властью!

За столом шел громкий разговор. Григорий слушал Фомина, украдкой поглядывая на его сподвижников. Ни одного знакомого лица! Он все еще не верил Фомину, думал, что тот лукавит, и из осторожности молчал. Но и молчать все время — тоже было нелзя.

— Ежели ты это, товарищ Фомин, всерьез говоришь — чего же вы хотите? Новую войну подымать? — спросил он, слясь отогнать навалившуюся на него сонливость.

— Я уже тебе об этом сказал.

— Власть сменять?

— Да.

— А какую же ставить?

— Свою, казачью!

— Атаманов?

— Ну, об атаманах трошки погодим гутарить. Какую власть народ выберет, такую и поставим. Но это — дело не скорое, да я и не секу насчет политики. Я—военный человек, мое дело уничтожить комиссаров и коммунистов, а насчет власти — это тебе Капарин, мой начальник штаба, расскажет. Он у меня голова насчет этого. Башковитый человек, грамотный. — Фомин наклонился к Григорию, шепнул: — Бывший штабс-капитан царской армии. Умница парень! Он зараз спит в горнице, что-то прихворнул, должно с непривычки: переходы делаем большие.

В сенях послышался шум, топот ног, стон, сдержанная возня и приглушенный крик: «Дай ему в душу!». За столом разом смолкли разговоры. Фомин настороженно глянул на дверь. Кто-то рывком распахнул ее. Низом хлынул в

комнату белый всклубившийся пар. Высокий человек без шапки, в стеганой защитной теплушке и седых валенках, от звучного удара в спину клонясь вперёд, сделал несколько стремительных спотыкающихся шагов и сильно ударился плечом о выступ печи. Из сеней кто-то весело крикнул, перед тем как захлопнуть дверь:

— Возьмите ишо одного!

Фомин встал, поправил на гимнастёрке пояс.

— Ты кто такой? — властно спросил он.

Человек в теплушке, задыхаясь, провел рукой по волосам, попробовал шевельнуть лопатками и сморщился от боли. Его ударили в позвоночник чем-то тяжелым, видимо — прикладом.

— Чего же молчишь? Язык отнялся? Кто такой, спрашиваю.

— Красноармеец.

— Какой части?

— Двенадцатого продовольтственного полка.

— А-а-а, это — находка! — улыбаясь, проговорил один из сидевших за столом.

Фомин продолжал допрос:

— Что ты тут делал?

— Заградительный отряд... нас послали...

— Понятно. Сколько вас было тут в хуторе?

— Четырнадцать человек.

— Где остальные?

Красноармеец помолчал и с усилием разжал губы. В горле его что-то заклокотало, из левого угла рта потекла на подбородок тоненькая струйка крови. Он вытер губы рукой, посмотрел на ладонь и вытер ее о штаны.

— Эта сволочь... ваша... — глотая кровь, заговорил он булькающим голосом, — легкие мне отбил...

— Не робь! Вылечим! — насмешливо сказал приземистый казак, вставая из-за стола, подмигивая остальным.

— Где остальные? — вторично спросил Фомин.

— Уехали в Еланскую с обозом.

— Ты откуда? Каких краев рожак?

Красноармеец взглянул на Фомина лихорадочно блестящими голубыми гла-

зами, выплюнул под ноги сгусток крови и ответил уже чистым звучным баском: — Псковской губернии.

— Псковской, московский... слышали про таких... — насмешливо сказал Фомин. — Далеко ты, парень, забрался за чужим хлебом... Ну, кончен разговор! Что же нам с тобой делать, а?

— Надо меня отпустить.

— Простой ты, парень... А может, и на самом деле отпустим его, ребята? Вы — как? — Фомин повернулся к сидевшим за столом, посмеиваясь в усы.

Григорий, внимательно наблюдавший за всем происходившим, увидел сдержанные понимающие улыбки на бурых, обветренных лицах.

— Нехай у нас послужит месяца два, а тогда пустим его домой, к бабе, — сказал один из фоминовцев.

— Может, и оправди послужишь у нас? — спросил Фомин, тщетно силясь скрыть улыбку. — Коня тебе дадим, седло, заместо валенок — новые сапоги с дутыми голенищами... Плохо вас снабжают ваши командиры. Разве это обувка? На базу ростепель, а ты в валенках. Поступай к нам, а?

— Он — мужик, он верхом сроду не ездил, — ирредевая, притворно тонким голосом прощелелявил один из казаков.

Красноармеец молчал. Он прислонился спиной к печи, оглядывая всех посветлевшими ясными глазами. Время от времени он морщился от боли и слегка приоткрывал рот, когда ему было трудно дышать.

— Остаешься у нас, или как? — переспросил Фомин.

— А вы кто такие есть?

— Мы? — Фомин высоко поднял брови, разгладил ладонью усы. — Мы — борцы за трудовой народ. Мы против гнета комиссаров и коммунистов, вот кто мы такие.

И тогда на лице красноармейца Григорий вдруг увидел улыбку.

— Оказывается, вот вы кто... А я-то думал, что это за люди? — Пленный улыбался, показывая окрашенные кровью зубы, и говорил так, словно был приятно удивлен услышанной новостью, но в голосе его звучало что-то такое, что заставляло всех насторожиться. — По-ва-

шему, значит, борцы за народ. Та-а-ак. А по-нашему, просто бандиты. Да чтобы я вам служил? Ну, и шутники же вы, право!

— Ты тоже веселый парень, погляжу я на тебя... — Фомин сощурился, коротко спросил: — Коммунист?

— Нет, что вы! Беспартийный.

— Непохоже.

— Честное слово, беспартийный!

Фомин откашлялся и повернулся к столу.

— Чумаков! В расход его.

— Меня убивать не стоит. Не за что, — тихо сказал красноармеец.

Ему ответили молчанием. Чумаков — коренастый красивый казак в английской кожаной безрукавке — неохотно встал из-за стола, пригладил и без того гладко зачесанные назад русые волосы.

— Надоела мне эта должность, — бодро сказал он, вытащив из груди сваленных на лавке шашек свою и пробуя лезвие ее на большом пальце.

— Не обязательно самому. Скажи ребятам, какие во дворе, — посоветовал Фомин.

Чумаков холодно оглядел красноармейца с ног до головы, сказал:

— Иди вперед, милый.

Красноармеец отшатнулся от печи, сторбился и медленно пошел к выходу, оставляя на полу влажные следы промокших валенок.

— Шел сюда — хотя бы ноги вытер. Явился, наследил нам тут, напрязил... До чего же ты неряха, братец! — с нарочитым недовольством говорил Чумаков, направляясь за пленным.

— Скажи, чтобы вывели на проулок, либо на гумно. Возле дома не надо, а то хозяева будут обижаться! — крикнул вслед им Фомин.

Он подошел к Григорию, сел рядом, спросил:

— Короткий у нас суд?

— Короткий, — избегая встретиться глазами, ответил Григорий.

Фомин вздохнул.

— Ничего не попишешь. Зараз так надо. — Он еще что-то хотел сказать, но на крыльце громко затопали, кто-то крикнул и звучно хлопнул одинокий выстрел.

— Что их там чорт мордует! — с досадой воскликнул Фомин.

Один из сидевших возле стола вскочил, ударом ноги распахнул дверь.

— В чем там дело? — крикнул он в темноту.

Вошел Чумаков, оживленно сказал:

— Такой шустрый оказался! Вот чертяка! С верхней приступки сигнул и побег. Пришлось стратить патрон. Ребята там его кончают...

— Прикажи, чтобы вытянули с база на проулок.

— Я уже сказал, Яков Ефимович.

В комнате на минуту стало тихо. Потом кто-то спросил, подавив зевоту:

— Как, Чумаков, погода? Не разведывает на базу?

— Тучки.

— Ежели дождь пройдет — последний снежок смоем.

— А на что он тебе нужен?

— Он мне ненужен. По грязюке неохота хлюстаться.

Григорий подошел к кровати, взял свою папаху.

— Ты куда? — спросил Фомин.

— Оправиться.

Григорий вышел на крыльцо. Неярко светил проглянувший из-за тучки месяц. Широкий двор, крыши сараев, устремленные ввысь голые вершины пирамидальных тополей, покрытые попонами лошади у коновязи, — все это было освещено призрачным голубым светом полноты. В нескольких саженях от крыльца, головою в тускло блистающей луже талой воды, лежал убитый красноармеец. Над ним склонились трое казаков, негромко разговаривая. Они что-то делали возле мертвого.

— Он ишо двошит, ей-богу! — с досадой сказал один. — Что же ты, косорукий чорт, так добивал? Говорил тебе — руби в голову! Эх, тюрю неквашенная!

Хрипатый казак, тот самый, который конвоировал Григория, ответил:

— Дойдет! Подрыгает и дойдет... Да подыми ты ему голову! Не сыму никак. Подымай за волосья, вот так. Ну, а теперь держи.

Хлюпнула вода. Один из стоявших над мертвым выпрямился. Хрипатый,

сидя на корточках, кряхтел, стаскивая с убитого теплушку. Немного погодя он сказал:

— У меня рука легкая, через это он и не дошел пока. Бывало, в домашности кабана начну резать... Поддерживай, не бросай! О, чорт!.. Да-а, бывало, начну кабанка резать, все горло ему перехвачу, до самой душки достану, а он, проклятый, встанет и пойдет по базу. И долго ходит! Весь в кровянице, а ходит, хрипит. Дышать ему нечем, а он все живет. Это, значит, такая уж легкая рука у меня. Ну, бросай его... Все ишо двошит? Скажи на милость! А ить почти до мосла шею ему распахнул...

Третий распялил на вытянутых руках снятую с красноармейца теплушку, сказал:

— Обкровнили левый бок... Липнет к рукам, тьфу, будь она неладна!

— Обомнется. Это не сало, — спокойно сказал хрипатый и снова присел на корточки. — Обомнется, либо отстирается. Не беда.

— Да ты что, и штаны думаешь с него сымать? — недовольно спросил первый.

Хрипатый резко сказал:

— Ты, ежели спешишь, иди к коням, без тебя тут управимся! Не пропадать же добру?

Григорий круто повернулся, пошел в дом.

Фомин встретил его коротким, изучающим взглядом, встал.

— Пойдем в горницу, потолкуем, а то тут галдят дюже.

В просторной жарко натопленной горнице пахло мышами и конопляным семенем. На кровати, раскинувшись, спал одетый в защитный френч небольшой человек. Редкие волосы его были всклокочены, покрыты пухом и мелкими перьями. Он лежал, плотно прижавшись щекой к грязной покрытой одним наперником подушке. Висячая лампа освещала его бледное давно не бритое лицо.

Фомин разбудил его, сказал:

— Вставай, Капарин. Гость у нас. Это наш человек — Мелехов Григорий, бывший сотник, к твоему сведению.

Капарин свесил с кровати ноги, потер руками лицо, встал. С легким полупоклоном он пожал Григорию руку.

— Очень приятно. Штабс-капитан Капарин.

Фомин радушно придвинул Григорию стул, сам присел на сундук. По лицу Григория он, вероятно, понял, что справа над красноармейцем произвела на него гнетущее впечатление, потому и сказал:

— Ты не думай, что мы со всеми так строго обходимся. Этот же чужак — из продотрядников. Им и разным комиссарам спуска не даем, а остальных милуем. Вот вчера поймали трех милиционеров; лошадей, седла и оружие у них забрали, а их отпустили. На чорта они нужны — убивать их.

Григорий молчал. Положив руки на колени, он думал о своем и слышал, как во сне, голос Фомина.

— ...Вот так и воюем пока, — продолжал Фомин. — Думаем все-таки поднять казаков. Советской власти не жить. Слухом пользуемся, что везде война идет. Везде восстания: и в Сибири, и на Украине, и даже в самом Петрограде. Весь флот восстал в этой крепости, как ее прозывают...

— В Кронштадте, — подсказал Капарин.

Григорий поднял голову, пустыми, словно незрячими глазами взглянул на Фомина, перевел взгляд на Капарина.

— На, закури, — Фомин протянул портсигар. — Так вот, Петроград уже взяли и подходят к Москве. Везде такая волынка идет! Нечего и нам дремать. Подыдем казаков, стряхнем советскую власть, а там ежели кадеты подсобят, вовсе дела наши пойдут на лад. Нехай ихние ученые люди власть устанавливают, мы им поможем. — Он помолчал, потом спросил: — Ты как, Мелехов, думаешь: ежели кадеты подпрут от Черного моря и мы соединимся с ними, — нам же это зачтется, что мы первые восстали в тылу? Капарин говорит — непременно зачтется. Неужели, к примеру, мне будут попрекать, что я увел в восемнадцатом году 28-й полк с фронта и каких-нибудь два года служил советской власти?

«Вон ты куда стреляешь! Дурак, а хитрый...» — подумал Григорий, невольно улыбнувшись. Фомин ждал ответа. Вопрос этот, очевидно, занимал его не на шутку. Григорий нехотя сказал:

— Это дело длинное.

— Конечно, конечно, — охотно согласился Фомин. — Я это к слову сказал. Дальше виднее будет, а теперь нам надо действовать, громить коммунистов в тылу. Жить мы им все одно не дадим! Они лехотишку свою посадили на подводы и думают за нами утоняться... Пушай пробуют. Пока конную часть им подкинут, мы весь округ кверху ногами поставим!

Григорий снова смотрел под ноги себе, думал. Капарин извинился, прилег на кровать.

— Устаю очень. Переходы сумасшедшие у нас, мало спим, — сказал он, вяло улыбнувшись.

— Пора и нам на покой, — Фомин встал, опустил тяжелую руку на плечо Григория. — Молодец, Мелехов, что послушал тогда в Вешках моего совета! Не прихоронись ты тогда — навели бы тебе решку. Лежал бы теперь в вешенских бурунах, и ноготки обопрели бы... Это уж я — как в воду гляжу. Ну, как, что надумал? Говори, да давай ложиться спать.

— Об чем говорить?

— С нами идешь, или как? Всю жизнь по чужим катухам не прохоронишься.

Григорий ждал этого вопроса. Надо было выбирать: или дальше скитаться по хуторам, вести голодную, бездомную жизнь и погибнуть от глухой тоски, пока хозяин не выдаст властям, или самому явиться с повинной в политбюро, или итти с Фоминым. И он выбрал. Впервые за весь вечер глянул прямо в глаза Фомину, кривя губы улыбкой, сказал:

— У меня выбор, как в сказке про богатырей: налево поедешь — коня потеряешь, направо поедешь — убитым быть... И так — три дороги, и ни одной нету путевой...

— Ты уж выбирай без сказок. Сказки потом будем рассказывать.

— Деваться некуда, потому и выбра.

— Ну?

— Вступаю в твою банду.

Фомин недовольно поморщился, закусил ус.

— Ты это название брось. Почему это — банда? Такое прозвище нам коммунисты дали, а тебе так говорить негоже. Просто восставшие люди. Коротко и ясно.

Недовольство его было минутным. Он явно был обрадован решением Григория — и не мог скрыть этого, оживленно потирая руки, сказал:

— Нашего полку прибыло! Слышишь, ты, штабс-капитан? Дадим тебе, Мелехов, взвод, а ежели не хочешь взводом командовать — будешь при штабе с Капариным заворачивать. Коня тебе отдаю своего. У меня есть запасный.

Глава XII

К заре слегка приморозило. Луи загнуло сизым ледком. Снег стал жесткий, звучно хрустящий. На зернистой снежной целине копыта лошадей оставляли неясные, осыпающиеся, круглые отпечатки, а там, где вчерашняя оттепель съела снег, голая земля с приниженной к ней мертвой прошлогодней травой под копытами лишь слегка вминалась и, продавливаясь, глухо гудела.

Фоминовский отряд строился за хутором в походную колонну. Далеко на шляху маячили шестеро конников высланного вперед головного разъезда.

— Вот оно мое войско! — подъехал к Григорию, улыбаясь, сказал Фомин. — Чорту рога можно сломать с такими ребятами!

Григорий окинул взглядом колонну, с грустью подумал: «Нарвался бы ты со своим войском на мой буденновский эскадрон, мы бы тебя за полчаса по косточкам растрепали!».

Фомин указал плетью, спросил:

— Как они на вид?

— Пленных рубят неплохо и раздевают битых тоже неплохо, а вот как они в бою — не знаю, — сухо ответил Григорий.

Повернувшись в седле спиной к ветру, Фомин закурил, сказал:

— Поглядишь их и в бою. У меня народ все больше служивый, эти не подведут.

Шесть пароконных подвод с патронами и продовольствием поместились в середине колонны. Фомин поскакал вперед, подал команду трогаться. На бугре он снова подъехал к Григорию, спросил:

— Ну, как мой конь? По душе?

— Добрый конь.

Они долго и молча ехали рядом, стремя к стремени, потом Григорий спросил:

— В Татарском не думаешь побывать?

— По своим наскучал?

— Хотелось бы проведать.

— Может, и заглянем. Зараз думаю на Чир свернуть, потолкать казачков, расшевелить их трошки.

Но казаки не очень-то охотно «шевелились»... В этом Григорий убедился в течение ближайших же дней. Занимая хутор или станицу, Фомин приказывал созвать собрание граждан. Выступал больше сам он, иногда его заменял Капарин. Они призывали казаков к оружию, говорили о «тяготах, которые возложила на хлеборобов советская власть», об «окончательной разрухе, которая неизбежно придет, если советскую власть не свергнуть». Фомин говорил не так грамотно и складно, как Капарин, но более пространно и на понятном казакам языке. Кончал он речь обычно одними и теми же заученными фразами: «Мы с нонешнего дня освобождаем вас от продразверстки. Хлеб больше не возите на приемные пункты. Пора перестать кормить коммунистов-дармоедов. Они жир нагуливали на вашем хлебе, но эта чужбинка кончилась. Вы — свободные люди! Вооружайтесь и поддерживайте нашу власть! Ура, казаки!».

Казаки смотрели в землю и угрюмо молчали, зато бабы давали волю языкам. Из тесных рядов их сыпались ядовитые вопросы и выкрики:

— Твоя власть хорошая, а мыла ты нам привез?

— Где ты ее возишь, свою власть, в тороках?

— А вы сами чьим хлебом кормитесь?

— Небось зараз поедете по дворам побираться?

— У них шашки. Они без спросу курам начнут головы рубить!

— Как это — хлеб не возить? Нынче вы тут, а завтра вас и с собаками не сыщешь, а нам отвечать?

— Не дадим вам наших мужьев! Войдите сами!

И многое другое в великом ожесточении выкрикивали бабы, изуверившиеся за годы войны во всем, боявшиеся новой войны и с упорством отчаяния цеплявшиеся за своих мужей.

Фомин равнодушно выслушивал их бестолковые крики. Он знал им цену. Выждав тишину, он обращался к казакам. И тогда коротко и рассудительно те отвечали:

— Не притесняйте нас, товарищ Фомин, навоевались мы вдосталь.

— Пробовались, восставали в девятнадцатом году!

— Не с чем восставать, и не к чему! Пока нужды нету.

— Пора подходит — сеять надо, а не воевать.

Однажды из задних рядов кто-то крикнул:

— Сладко гутаришь зараз! А где был в девятнадцатом году, когда мы восставали? Поздно ты, Фомин, вспомнулся!

Григорий видел, как Фомин изменился в лице, но все же сдержался и ничего не сказал в ответ.

Первую неделю Фомин вообще довольно спокойно выслушивал на собраниях возражения казаков, их короткие отказы в поддержке его выступления; даже бабьи крики и ругань не выводили его из душевного равновесия. «Ничего, мы их уломаем!» — самоуверенно говорил он, улыбаясь в усы. Но убедившись в том, что основная масса казачьего населения относится к нему отрицательно, — он круто изменил свое отношение к выступавшим на собраниях. Говорил он, уже не слезая с седла, и не столько уговаривал, сколько грозил.

Однако результат оставался прежним: казаки, на которых он думал опереться, молча выслушивали его речь и так же молча начинали расходиться.

На одном из хуторов после его речи выступила с ответным словом казачка. Большая ростом, дородная и широкая в кости вдова говорила почти мужским басом и по-мужски ухватисто и резко размахивала руками. Широкое изъеденное оспой лицо ее было исполнено злой решимости, крупные вывернутые губы все время кривились в презрительной усмешке. Тыча красной пухлой рукой в сторону Фомина, каменно застывшего на седле, она словно выплевывала язвительные слова:

— Ты чего смутьянничаешь тут? Ты куда наших казаков хочешь пихнуть, в какую яму? Мало эта проклятая война у нас баб повдвила? Мало деток посиротила? Новую беду на наши головы кличешь? И что это за царь-освободитель такой объявился с хутора Рубежного? Ты бы дома порядку дал, разруху прикончил, а посла нас бы учил, как жить и какую власть принимать, а какую не надо! А то у тебя у самого дома баба из хомута не вылазит, знаем точно! А ты усы распушил, разъезжаешь на конике, народ мутишь. У тебя у самого в хозяйстве — кабы ветер хату не подпирал, она давно бы упала. Учитель нашелся! Чего же ты молчишь, рыжее мурло, аль я неправду говорю?

В толпе зашелестел тихий смешок. Зашелестел, как ветер, и стих. Левая рука Фомина, лежавшая на луке седла, медленно перебирала поводья, лицо темнело от сдерживаемого гнева, но он молчал, искал в уме достойный выход из создавшегося положения.

— И что это за власть твоя, что ты зовешь ее поддерживать? — напористо продолжала вошедшая в раж вдова.

Она подбоченилась и медленно шла к Фомину, виляя широченными бедрами. Перед нею расступались казаки, пряча улыбки, потупив смеющиеся глаза. Они очищали круг словно для пляски, сторонились, толкали друг друга...

— Твоя власть без тебя на земле не остается, — низким басом говорила вдова. — Она следом за тобой волочится

и больше часу в одном месте не живет! «Нынче на коне верхом, а завтра в грязи Пахом» — вот кто ты такой, и власть твоя такая же!

Фомин с силой сжал ногами бока коня, послал его в толпу. Народ шарахнулся в разные стороны. В широком кругу осталась одна вдова. Она видала всякие виды и потому спокойно глядела на оскаленную морду фоминовского коня, на бледное от бешенства лицо всадника.

Наезжая на нее конем, Фомин высоко поднял плетль.

— Цыц, рябая стерва!.. Ты что тут агитацию разводишь?!

Прямо над головой бесстрашной казачки высилась задранная вверх, оскаленная конская морда. С удил слетел бледнозеленый комок пены, упал на черный вдовый платок, с него — на щеку. Вдова смахнула его движением руки, ступила шаг назад.

— Тебе можно говорить, а нам нельзя? — крикнула она, глядя на Фомина круглыми, сверкающими от ярости глазами.

Фомин не ударил ее. Потрясая плетью, он заорал:

— Зараза большевицкая! Я из тебя дурь выблю! Вот прикажу задрать тебе подол да всыпать шомполов, тогда дору поумнеешь!

Вдова ступила еще два шага назад и, неожиданно повернувшись к Фомину спиной, низко нагнулась, подняла подол юбки.

— А этого ты не видал, Аника-воин? — воскликнула она и, выпрямившись с диковинным проворством, снова стала лицом к Фомину. — Меня?! Пороть?! В носе у тебя не кругло!..

Фомин с ожесточением плюнул, натянул поводья, удерживая попятившегося коня.

— Закройся, кобыла нежеребая! Рада, что на тебе мяса много? — громко сказал он и повернул коня, тщетно пытаясь сохранить на лице суровое выражение.

Глухой задавленный хохот зазвучал в толпе. Один из фоминовцев, спасая посрамленную честь своего командира, подбежал к вдове, замахнулся прикладом карабина, но здоровенный казак,

ростом на две головы выше его, заслонил женщину широким плечом, тихо, но многообещающе сказал:

— Не трогай!

И еще трое хуторян быстро подошли и оттеснили вдову назад. Один из них — молодой, чубатый — шепнул фоминовцу:

— Чего намахиваешься, ну? Бабу побить нехитро, ты свою удадь вон там, на бугре, покажи, а по забазьям все мы храбрые...

Фомин шагом отъехал к плетню, приподнялся на стременах.

— Казаки! Подумайте хорошенько! — крикнул он, обращаясь к медленно расходившейся толпе. — Зараз добром просим, а через неделю вернемся — другой разговор будет!

Он почему-то пришел в веселое расположение духа и, смеясь, сдерживая танцующего на одном месте коня, кричал:

— Мы не из дужливых! Нас этими бабьими... — (последовало несколько нецензурных выражений) — не напугаете! Мы видали и рябых, и всяких! Приедем, и ежели никто из вас добровольно не впишется в наш отряд, — насильно мобилизуем всех молодых казаков. Так и знайте! Нам с вами нянчиться и заглядывать вам в глаза некогда!

В толпе, приостановившейся на минуту, слышались смех и оживленные разговоры. Фомин, все еще улыбаясь, командовал:

— По ко-о-ням!..

Багровея от сдерживаемого смеха, Григорий поскакал к своему взводу.

Растянувшийся по грязной дороге фоминовский отряд выбрался уже на бугор, скрылся из глаз негостеприимный хутор, а Григорий все еще изредка улыбался, думал: «Хорошо, что веселый народ мы — казаки. Шутка у нас гостует чаще, чем горе, а не дай бог делалось бы все всурьез — при такой жизни давно бы завеситься можно!». Веселое настроение долго не покидало его, и только на привале он с тревогой и горечью подумал о том, что казаков, наверное, не удастся поднять и что вся фоминовская затея обречена на неизбежный провал.

Глава XIII

Шла весна. Сильнее пригревало солнце. На южных склонах бугров потаял снег, и рыжая от прошлогодней травы земля в полдень уже покрывалась прозрачной сиреневой дымкой испарений. На сугревах, на курганах, из-под вросших в суглинок самородных камней показались первые, яркозеленые острые ростки травы мядянки. Обнажилась зябь. С брошенных зимних дорог грачи перекочевали на гумна, на затопленную талой водой озимь. В логах и балках скел лежал синий, доверху налитый влагой; оттуда все еще сурово веяло холодом, но уже тонко и певуче звенели в ярах, под снегом невидимые глазу вешние ручейки, и совсем по-весеннему, чуть приметно и нежно, зазеленели в перелесках стволы тополей.

Подходила рабочая пора, и с каждым днем таяла фоминовская банда. После ночевки наутро не досчитывались одного-двух человек, а однажды сразу скрылось чуть ли не ползвода: восемь человек с лошадьми и вооружением отправились в Вешенскую сдаваться. Надо было пахать и сеять. Земля звала, тянула к работе, и многие фоминовцы, убедившись в бесполезности борьбы, тайком покидали банду, разъезжались по домам. Оставался лихой народ, кому нельзя было возвращаться, чья вина перед советской властью была слишком велика, чтобы можно было рассчитывать на прощение.

К первым числам апреля у Фомина было уже не больше 86 сабель. Григорий тоже остался в банде. У него не хватало мужества явиться домой. Он был твердо убежден в том, что дело Фомина проиграно и что рано или поздно банду разобьют. Он знал, что при первом же серьезном столкновении с какой-либо регулярной кавалерийской частью Красной Армии они будут разгромлены наголову. И все же остался подручным у Фомина, втайне надеясь дотянуть как-нибудь до лета, а тогда захватить пару лучших в банде лошадей, махнуть ночью в Татарский и оттуда, вместе с Аксиньей, — на юг. Степь донская — широкая, простору и неез-

женных дорог в ней много; летом все пути открыты, и всюду можно найти приют... Думал он, бросив где-нибудь лошадей, пешком с Аксиньей пробраться на Кубаку, в предгорья, подальше от родных мест, и там пережить смутное время. Иного выхода, казалось ему, не было...

Фомин по совету Капарина решил перед ледоходом перейти на левую сторону Дона. На грани с Хоперским округом, где было много лесов, надеялся он в случае необходимости укрыться от преследования.

Выше хутора Рыбного банда переправилась через Дон. Местами, на быстринах лед уже пронесло. Под ярким апрельским солнцем серебряной чешуей сверкала вода, но там, где была набитая зимняя дорога, на аршин возвышавшаяся над уровнем льда, — Дон стоял нерушимо. На окраинцы положили плетни, лошадей по одной провели в поводу, на той стороне Дона построились и, выслав вперед разведку, пошли в направлении Еланской станицы.

День спустя Григорию довелось увидеть своего хуторянина — кривого старика Чумакова. Он ходил в хутор Грязновский к родне и повстречался с бандой неподалеку от хутора. Григорий отвел старика на сторону от дороги, спросил:

— Детишки мои — живые-здоровые, дедушка?

— Бог хранит, Григорий Пантелевич, живые и здоровые.

— Великая просьба к тебе, дедушка: передай им и сестре Евдокии Пантелевне от меня низкий поклон, и Прохору Зыкову — поклон, а Аксинье Астаховой скажи, пушай меня вскорости поджидает. Только, окромя них, никому не говори, что видал меня, ладно?

— Сделаю, кормилец, сделаю! Не сумлевайся, все передам, как надо.

— Что нового в хуторе?

— А ничего нету, все по-старому.

— Кошевой все председателем?

— Он самый.

— Семью мою не обижают?

— Ничего не слыхал, стало быть не трогают. Да за что же их и трогать? Они за тебя не ответчики...

— Тогда давай завтра сами поедем в Вешенскую и подыдем вверх руки: берите, мол, нас, сдаемся.

— Нет, мы ишо погуляем...

Григорий стал против стола, широко расставив ноги.

— Ежели ты не наведешь порядок, ежели не прикончишь грабежи и пьянку, я отколюсь от тебя и уведу с собой половину народа, — тихо сказал он.

— Попробуй, — угрожающе протянул Фомин.

— И без пробы выйдет!

— Ты.. ты мне брось грозить! — Фомин положил руку на кобуру нагана.

— Не лапай кобуру, а то я тебя через стол скорей достану! — быстро сказал Григорий, побледнев, до половины обнажив шашку.

Фомин положил руки на стол, улыбнулся.

— Чего ты привязался ко мне? Без тебя голова трещит, а тут ты с глупыми разговорами. Вложи шашку в ножны! И пошутить с тобой нельзя, что ли? Скажи, пожалуйста — строгий какой! Чисто девочка шестнадцати годов...

— Я уже тебе сказал, чего хочу, и ты это заруби себе на носу. У нас не все такого духу, как ты.

— Знаю.

— Знай и помни! Завтра же прикажи, чтобы опорожнили вьюки. У нас — конная часть, а не вьючный обоз. Отсеки им это, как ножом! Тоже, борцы за народ называются! Огрузились грабленным добром, торгуют им на хуторах, как раньше, бывало, купцы-коробейники... Стыду до глаз! И на чорта я с вами связывался? — Григорий плюнул и отвернулся к окну, бледный от негодования и злобы.

Фомин засмеялся, сказал:

— Ни разу нас конница не надавила... Сытый волк, когда за ним верховые гонят, все, что сожрал, на бегу отрыгивает. Так и мои стервецы — всё покидали бы, ежели б нажали на нас как следует. Ничего, Мелехов, не волнуйся, все сделаю! Это я так, трошки духом пал и распустил вожжи, но я их подберу! А делиться нам нельзя, давай кручину трепать вместе.

Им помешали закончить разговор: в комнату вошла хозяйка, неся дымящуюся миску щей, потом толпой ввалились предводимые Чумаковым казаки.

Но разговор все же возымел действие. Наутро Фомин отдал приказ опорожнить вьюки, сам проверил исполнение этого приказа. Одного из отъявленных грабителей, оказавшего сопротивление при осмотре вьюков и не желавшего расстаться с награбленным, Фомин застрелил в строю из нагана.

— Уберите это падло! — спокойно сказал он, пихнув ногой мертвого, и оглядел строй, повысил голос: — Хватит, сукины сыны, по сундукам лазить! Я вас не для того поднял против советской власти! С убитого противника можете сымать всё, даже мазаные исподники, ежели не погребуете, а семьи не трожьте! Мы с бабами не воюем. А кто будет супротивничать — получит такой же расчет!

В строю прокатился и смолк тихий шумок...

Порядок был, как будто, восстановлен. Дня три банда рыскала по левобережью Дона, уничтожая в стычках небольшие отрядики местной самообороны.

В станице Шумилинской Капарин предложил перейти на территорию Воронежской губернии. Он мотивировал это тем, что там они наверняка получат широкую поддержку населения, недавно восставшего против советской власти. Но когда Фомин объявил об этом казакам, те в один голос заявили: «Из своего округа не пойдём!». В банде замитинговали. Пришлось изменить решение. В течение четырех дней банда безостановочно уходила на восток, не принимая боя, который навязывала ей конная группа, начавшая преследовать Фомина по пятам от самой станицы Казанской.

Заметать свои следы было нелегко, так как всюду на полях шла весенняя работа и даже в самых глухих уголках степи копошились люди. Уходили темными весенними ночами, но едва лишь утром останавливались где-либо подкормить лошадей — неподалеку появлялась конная разведка противника, короткими

очередями бил ручной пулемет, и фоминовцы под обстрелом начинали поспешно взнуздывать лошадей. За хутором Мельниковым Вешенской станицы Фомина искусным маневром удалось обмануть противника и оторваться от него. Из донесения своей разведки Фомин знал, что командует конной группой Егор Журавлев — напористый и понимающий в военном деле казак Букановской станицы; знал он, что конная группа численностью почти вдвое превосходит его банду, имеет шесть ручных пулеметов и свежих, неизмотанных длительными переходами лошадей. Все это заставляло Фомина уклоняться от боя с тем, чтобы дать возможность отдохнуть людям и лошадям, а потом, при возможности, не в открытом бою, а внезапным налетом, растрепать группу и, таким образом, избавиться от навязчивого преследования. Думал он также разжиться за счет противника пулеметами и винтовочными патронами. Но расчеты его не оправдались. То, чего опасался Григорий, случилось 18-го апреля на опушке Слащевской дубравы. Накануне Фомин и большинство рядовых бойцов перепились в хуторе Севастьяновском, из хутора выступили на рассвете. Ночью почти никто не спал, и многие теперь заснули в седлах. Часам к девяти утра неподалеку от хутора Ожогина стали на привал. Фомин выставил сторожевое охранение и приказал дать лошадям овса.

С востока дул сильный порывистый ветер. Бурое облако песчаной пыли закрывало горизонт. Над степью висела густая мгла. Чуть просвечивало солнце, задернутое высококовзвихренной мглой. Ветер трепал полы шинелей, конские хвосты и гривы. Лошади поворачивались к ветру спиной, искали укрытия возле редких разбросанных на опушке леса кустов боярышника. От колючей песчаной пыли слезились глаза, и было трудно что-либо рассмотреть даже на недалеком расстоянии.

Григорий заботливо протер своему коню храп и влажные надглазницы, навесил торбу и подошел к Капарину, кормившему лошадь из полы шинели.

— Ну и место для стоянки выбра-

ли! — сказал он, указывая плетью на лес.

Капарин пожал плечами.

— Я говорил этому дураку, но разве его можно в чем-либо убедить?

— Надо было стать в степи или на искрайке хутора.

— Вы думаете, что нападения можно ждать из леса?

— Да.

— Противник далеко.

— Противник может быть и близко, это вам не пехота.

— Лес голый, пожалуй, увидим в случае чего.

— Смотреть некому, почти все спят. Боюсь, как бы и в охранении не спали.

— Они с ног валяются после вчерашней пьянки, их теперь не добудишься. — Капарин сморщился, как от боли, сказал вполголоса. — С таким руководителем мы погибнем. Он пуст, как пробка, и глуп, прямо-таки непроходимо глуп! Почему вы не хотите взять на себя командование? Казаки вас уважают. За вами они охотно пошли бы.

— Мне это не надо, я у вас короткий гость, — сухо ответил Григорий и отошел к коню, сожалея о нечаянно сорвавшемся с языка неосторожном признании.

Капарин высыпал из полы на землю остатки зерна, последовал за Григорием.

— Знаете, Мелехов, — сказал он, на ходу сломив ветку боярышника, ошпыливая набухшие тугие почки, — я думаю, что долго мы не продержимся, если не вольемся в какую-нибудь крупную антисоветскую часть, например — в бригаду Маслака, которая бродит где-то на юге области. Надо пробиваться туда, иначе нас здесь уничтожат в одно прекрасное время.

— Зараз разлив. Дон не пустит.

— Не сейчас, но когда вода спадет — надо уходить. Вы думаете иначе?

После некоторого раздумья Григорий ответил:

— Правильно. Надо подаваться отсюда. Делать тут нечего.

Капарин оживился. Он стал пространно говорить о том, что расчеты на поддержку со стороны казаков не оправдались и что теперь надо всячески убе-

ждать Фомина, чтобы он не колесил бесцельно по округу, а решился на слияние с более мощной группировкой.

Григорию надоело слушать его болтовню. Он внимательно следил за конем, и как только тот опорожнил торбу, — снял ее, взнуздal коня и подтянул подпруты.

— Выступаем еще не скоро, напрасно вы спешите, — сказал Капарин.

— Вы лучше пойдите приготовьте коня, а то тогда некогда будет сделать, — ответил Григорий.

Капарин внимательно посмотрел на него, пошел к своей лошади, стоявшей возле обозной линейки.

Ведя коня в поводу, Григорий подошел к Фомину. Широко разбросав ноги, Фомин лежал на разостланной бурке, лениво обгладывал крыло вареной курицы. Он подвинулся, жестом приглашая занять место рядом с ним.

— Садись полудновать со мной.

— Надо уходить отсюда, а не полудновать, — сказал Григорий.

— Выкормим лошадей и тронемся.

— Потом можно выкормить.

— Чего ты горячку порешь? — Фомин отбросил обглоданную кость, вытер о бурку руки.

— Накроют нас тут. Место подходящее.

— Какой нас чорт накроет? Зараз разведка вернулась, говорят, что бугор пустой. Стало быть, Журавлев потерял нас, а то бы он теперь на хвосте висел. Из Букановской ждaть некого. Военкомом там Михей Павлов, парень он боевой, но силенок у него маловато, и он едва ли пойдет встречать нас. Отдохнем, как следует, переждем трюшки этот ветер, а потом направимся в Слащевскую. Садись, ешь курятину, чего над душой стоишь? Что-то ты, Мелехов, трусоват стал, скоро все кусты будешь объезжать, вон какой крюк будешь делать! — Фомин широко повел рукой и захохотал.

Вырутавшись в сердцах, Григорий отошел, привязал к кусту коня, лег около, прикрыв от ветра лицо полкой шинели. Он задремал под свист ветра, под тонкий напевный шорох склонившейся над ним высокой сухой травы.

Длинная пулеметная очередь заставила его вскочить на ноги. Очередь еще не успела кончиться, а Григорий уже отвязал коня. Покрывая все голоса, Фомин заорал: «По коням!». Еще два или три пулемета затрещали справа, из лесу. Сев в седло, Григорий мгновенно оценил обстановку. Справа над опушкой леса, чуть видные сквозь пыль, человек пятьдесят красноармейцев, развернувшись лавой, отрезая путь к отступлению на бугор, шли в атаку. Холодно и так знакомо поблескивали над головами их голубые при тусклом свете солнца клинки. Прямо из лесу, с заросшего кустарником приторка, с лихорадочной поспешностью опорожняя диск за диском, били пулеметы. Слева тоже с пол-эскадрона красноармейцев мчались без крика, помахивая шашками, растягиваясь, замыкая кольцо окружения. Оставался единственный выход: прорваться сквозь редкие ряды атакующих слева и уходить к Дону. Григорий крикнул Фомину: «За мной держи!» — и пустил коня, обнажив шашку.

Отскакав сажен двадцать, он оглянулся. Фомин, Капарин, Чумаков и еще несколько бойцов бешеным наметом шли сзади, в каких-нибудь десяти саженях от него. Пулеметы в лесу смолкли, лишь крайний справа бил короткими злыми очередями по суетившимся около обозных повозок фоминовцам. Но и последний пулемет сразу умолк, и Григорий понял, что красноармейцы — уже на месте стоянки и что сзади началась рубка. Он догадывался об этом по глухим отчаянным вскрикам, по редкой прерывистой стрельбе оборонявшихся. Ему некогда было оглядываться. Сближаясь в стремительном броске с шедшей навстречу лавой, он выбирал цель. Навстречу скакал красноармеец в куцом дубленом полушубке. Под ним была серая не очень резвая лошадь. Как при вспышке молнии, за какое-то неуловимое мгновение Григорий увидел и лошадь с белой звездой нагрудника, покрытого хлопьями пены, и всадника с красным, разгоряченным молодым лицом, и широкий пасмурный просвет уходящей к Дону степи — за ним... В следующий миг надо было уклоняться от

удара и рубить самому. В пяти саженьях от всадника Григорий резко качнулся влево, услышал режущий посвист шашки над головой и, рывком выпрямившись в седле, только кончиком своей шашки достал уже миновавшего его красноармейца по голове. Рука Григория почти не ощутила силы удара, но, глянув назад, он увидел поникшего, медленно сползавшего с седла красноармейца и густую полосу крови на спине его желтой дубленки. Серая лошадь сбилась с намета и шла уже крупной рысью, дико задрав голову, избочившись так, словно она испугалась собственной тени...

Григорий припал к шее коня, привычным движением опустил шашку. Тонко и резко свистали над головой пули. Плотнo прижатые уши коня вздрагивали, на кончиках их бисером проступил пот. Григорий слышал только воющий свист посылаемых ему в угон пуль да короткое и резкое дыхание коня. Он еще раз оглянулся и увидел Фомина и Чумакова, за ними саженьях в пятидесяти скакал приотставший Капарин, а еще дальше — лишь один боец второго взвода, хромой Стерлядников отбивался на скаку от двух наседавших на него красноармейцев. Все остальные во семь или девять человек, устремившиеся следом за Фоминым, были порублены. Разметав по ветру хвосты, лошади без седоков уходили в разные стороны, их перехватывали, ловили красноармейцы. Лишь один гнедой высокий конь, принадлежавший фоминовцу Прибыткову, скакал бок-о-бок с конем Капарина, всхрапывая, волоча следом за собой мертвого хозяина, не высвободившего при падении ногу из стремени.

За песчаным бугром Григорий придержал коня, соскочил с седла, сунул шашку в ножны. Чтобы заставить коня лечь, пондобилось несколько секунд. Этому нехитрому делу Григорий выучил его в течение одной недели. Из-за укрытия он расстрелял обойму, но так как, целясь, он спешил и волновался, то лишь последним выстрелом свалил под красноармейцем коня. Это дало возможность пятому фоминовцу уйти от преследования.

— Садись! Пропадешь! — крикнул Фомин, ровняясь с Григорием.

★

Разгром был полный. Только пять человек уцелело из всей банды. Их преследовали до хутора Антоновского, и погоня прекратилась, лишь когда пятеро беглецов скрылись в окружавшем хутор лесу.

За все время скачки никто из пятерых не обмолвился ни одним словом.

Возле речки лошадь Капарина упала, и поднять ее уже не смогли. Под остальными загнанные лошади качались, еле переставляли ноги, роняя на землю густые белые хлопья пены.

— Тебе не отрядом командовать, а овец стеречь! — сказал Григорий, спешиваясь и не глядя на Фомина.

Тот молча слез с коня, стал расседлывать его, а потом отошел в сторону, так и не сняв седла, — сел на поросшую папоротником кочку.

— Что ж, коней придется бросить, — сказал он, испуганно озираясь по сторонам.

— А дальше? — спросил Чумаков.

— Надо пеши перебираться на эту сторону.

— Куда?

— Перебудем в лесу до ночи, тогда переедем через Дон и схоронимся на первых порох в Рубежном, там у меня рудни много.

— Очередная глупость! — яростно воскликнул Капарин. — Ты предполагаешь, что там тебя не будут искать? Именно в твоём хуторе тебя теперь и будут ожидать! Чем ты только думаешь?

— Ну, а куда же нам деваться? — растерянно спросил Фомин.

Григорий вынул из седельных сум патроны и кусок хлеба, сказал:

— Вы долго думаете ладиться? Пошли! Привязывайте лошадей, расседлывайте их и — ходу, а то нас и тут сумеют забрать.

Чумаков бросил на землю плетъ, затоптал ее ногами в грязь, сказал дрогнувшим голосом:

— Вот мы и пешие стали... А ребятки наши все полегли. Матерь божья, как нас трепанули! Не думал я нынче в живых остаться... Смерть в глазах была...

Они молча расседлали лошадей, привязали всех четырех к одной ольхе и гуськом, одним следом, по-волчьи, — пошли к Дону, неся в руках седла, стараясь держаться зарослей погуще.

Глава XIV

Весною, когда разливается Дон и полая вода покрывает всю луговую пойму, против хутора Рубежного остается незатопленным небольшой участок высокого левобережья.

С обдонской горы весною далеко виден на разливе остров, густо поросший молодыми вербами, дубняком и сизыми раскидистыми кустами чернотала.

Летом деревья там до макушек оплетает дикий хмель, внизу по земле стелется непролазный колючий ежевичник, по кустам ползут, кучерявятся бледно голубые вьюнки, и высокая глухая трава, щедро вскормленная жирной почвой, поднимается на редких полянах выше человеческого роста.

Летом даже в полдни в лесу тихо, сумеречно, прохладно. Только иволги нарушают тишину да кукушки наперебой отсчитывают кому-то непрожитые года. А зимою лес и вовсе стоит пустой, голый, скованный мертвой тишиной. Мрачно чернеют зубцы его на фоне белесого зимнего неба. Лишь волчьи выводки из года в год находят в чаще надежное убежище, днями отлеживаясь в заваленном снегом бурьяне.

На этом острове обосновались Фомин, Григорий Мелехов и остальные уцелевшие от разгрома фоминовской банды. Жили кое-как: питались скудными харчишками, которые по ночам доставлял им на лодке двоюродный брат Фомина, ели впроголодь, зато спали вволю, подложив под головы седельные подушки. Ночами по очереди несли караул. Огня не разводили из опасения, что кто-либо обнаружит их местопребывание.

Омывая остров, стремительно шла на юг полая вода. Она грозно шумела, про-

рываясь сквозь гряды вставших на пути ее старых тополей, и тихо, певуче, успокоенно лепетала, раскачивая верхушки затопленных кустов.

К неумолчному и близкому шуму воды Григорий скоро привык. Он подолгу лежал возле круто срезанного берега, смотрел на широкий водный простор, на меловые отроги обдонских гор, тонущих в сиреневой солнечной дымке. Там, за этой дымкой, был родной хутор, Аксинья, дети... Туда летели его невеселые думки. На миг в нем жарко вспыхивала и жгла сердце тоска, когда он вспоминал о родных, вскипала глухая ненависть к Михаилу, но он подавлял эти чувства и старался не смотреть на обдонские горы, чтобы не вспоминать лишний раз. Незачем было давать волю злой памяти. Ему и без этого было достаточно тяжело. И без этого так наболело в груди, что иногда ему казалось — будто сердце у него освежено и не бьется оно, а кровоточит. Видно, ранения, и невзгоды войны, и тиф сделали свое дело: Григорий стал слышать докучливые перестуки сердца каждую минуту. Иногда режущая боль в груди, под левым соском, становилась такой нестерпимо острой, что у него мгновенно пересыхали губы и он с трудом удерживался, чтобы не застонать. Но он нашел верный способ избавления от боли: он ложился левой стороной груди на сырую землю или мочил холодной водой рубашку, и боль медленно, словно с неохотой, покидала его тело.

Погожие и безветренные стояли дни. Лишь изредка в ясном небе проплывали белые распушившиеся на вышем ветру облачка и по разливу лебединой стаей скользили их отражения и исчезали, коснувшись дальнего берега.

Хорошо было смотреть на разметавшуюся у берега бешено kloкочущую быстрину, слушать разноголосый шум воды и ни о чем не думать, стараться не думать ни о чем, что причиняет страдания. Григорий часами смотрел на прихотливые и бесконечно разнообразные завитки течения. Они меняли форму ежеминутно: там, где недавно шла ровная струя, неся на поверхности побитые стебли камыша, мятые листья и

корневища трав, — через минуту рождалась причудливо изогнутая воронка, жадно всасывавшая все, что проплывало мимо нее, а спустя немного на месте воронки уже вскипала и выворачивалась мутными клубами вода, извергая на поверхность то почерневший корень осоки, то распластанный дубовый лист, то неведомо откуда принесенный пучок соломы.

Вечерами горели на западе вишнево-красные зори. Из-за высокого тополя вставал месяц. Свет его белым холодным пламенем растекался по Дону, играя отблесками и черными переливами там, где ветер зыбил воду легкой рябью. По ночам, сливаясь с шумом воды, так же неумолчно звучали над островом голоса пролетающих на север бесчисленных гусиных стай. Никем не тревожимые птицы часто садились за островом, с восточной стороны его. В тиховодьи, в затопленном лесу призывно трещали чирковые селезни, кричали утки, тихо гоготали, перекликались казарки и гуси. А однажды, бесшумно подойдя к берегу, Григорий увидел неподалеку от острова большую стаю лебедей. Еще не всходило солнце. За дальней грядиной леса ярко полыхала заря. Отражая свет ее, вода казалась розовой, и такими же розовыми казались на неподвижной воде большие величественные птицы, повернувшие гордые головы на восход. Заслышав шорох на берегу, они взлетели с зычным трубным кликом, и когда поднялись выше леса, — в глаза Григорию ударил дивно сияющий, снежный блеск их оперения.

Фомин и его соратники каждый по своему убивали время: хозяйственный Стерлядников, примостив поудобнее хромую ногу, с утра до ночи чинил одежду и обувь, тщательно чистил оружие, Капарин, которому не в прок пошли ночевки на сырой земле, целыми днями лежал на солнце, укрывшись с головой полусубком, глухо покашливая, Фомин и Чумаков без-устали играли в самодельные, вырезанные из бумаги карты, Григорий бродил по острову, подолгу просиживал возле воды. Они мало разговаривали между собой, — все было

давно переговорено, — и собирались вместе только во время еды да вечерами, ожидая, когда придет брат Фомина. Скука одолевала их, и лишь однажды за все время пребывания на острове Григорий увидел, как Чумаков и Стерлядников, почему-то вдруг развеселившись, схватились бороться. Они долго тсптались на одном месте, кряхтя и перебрасываясь короткими шутивными фразами. Ноги их по щиколотки утопали в белом зернистом песке. Хромой Стерлядников был явно сильнее, но Чумаков превосходил его ловкостью. Они боролись по-кальмыцки, на поясах, выставляв вперед плечи и зорко следя за ногами друг друга. Лица их стали сосредоточенны и бледны от напряжения, дыхание — прерывисто и бурно. Григорий с интересом наблюдал за борьбой. Он увидел, как Чумаков, выбрав момент, вдруг стремительно опрокинул на спину, увлекая за собой противника и движением согнутых ног перебрасывая его через себя. Секунду спустя гибкий и проворный как хорь, Чумаков уже лежал на Стерлядникове, вдавливая ему лопатки в песок, а задыхающийся и смеющийся Стерлядников рычал: «Ну, и стерва же ты! Мы же не уговаривались... чтобы через голову кидать...».

— Связались, как молодые кочета, хватит, а то как-раз ишо подеретесь, — сказал Фомин.

Нет, они вовсе не собирались драться. Они мирно, в обнимку, сели на песок, и Чумаков глухим, но приятным баском в быстром темпе завел плясую:

— Ой, вы, морозы! Ой, вы, морозы!
Вы, морозы крещенские, лютые,
Сморозили сера волка в камыше,
Зазнобили девчоночку в тереме...

Стерлядников подхватил песню тоненьким тенорком, и они запели согласнo и неожиданно хорошо:

Выходила девчоночка на крыльцо,
Выносила черну шубку на руке,
Одевала урядничка на коне...

Стерлядников не выдержал: он вскочил и, прищелкивая пальцами, загребая песок хромой ногой, пустился в пляс.

Не прерывая песни, Чумаков взял шашку, вырыл в песке неглубокую ямку и тогда сказал:

— Погоди, чорт хромой! У тебя же одна ножка короче, тебе на ровном месте плясать неспособно... Тебе надо либо на косогоре плясать, либо так, чтобы одна нога, какая длинней, была в ямке, а другая наруже. Становись длинной ногой в ямку и ходи, поглядишь, как оно расхорошо получится... Ну, начали!..

Стерлядников вытер пот со лба, послушно ступил здоровой ногой в вырытое Чумаковым углубление.

— А ить верно, так мне ловчее, — сказал он.

Задыхаясь от смеха, Чумаков хлопнул в ладоши, скороговоркой зашел:

Будешь ехать — засъжай, милый, ко мне,
Как заедешь — расцелую я тебя..

И Стерлядников, сохраняя на лице присущее всем плясунам серьезное выражение, — начал ловко приплясывать и попробовал даже пройтись на приядку..

Дни проходили, похожие один на другой. С наступлением темноты нетерпеливо ждали, когда приедет брат Фомина. Собирались на берегу все пятеро, вполголоса разговаривали, курили, прикрывая лапами шинели огоньки папирос. Было решено пожить на острове еще с неделю, а потом перебраться ночью на правую сторону Дона, добыть лошадей и двинуться на юг. По слухам, где-то на юге округа ходила банда Маслака.

Фомин поручил своим родственникам разузнать, на каком из ближайших хуторов есть годные под верх лошади, а также велел ежедневно сообщать ему обо всем, что происходило в округе. Новости, которые передавали им, были утешительны: Фомина искали на левой стороне Дона, в Рубежном хотя и побывали красноармейцы, но после обыска в доме Фомина тотчас уехали.

— Надо скорее уходить отсюда. Какого тут анчихриста сидеть? Давайте завтра махнем? — предложил однажды во время завтрака Чумаков.

— Про лошадей надо разведать сначала, — сказал Фомин. — Чего нам

спешить? Кабы похарчевитее нас кормили — с этой живухой до зимы не расстался бы. Глядите, какая красота кругом! Отдохнем и — опять пойдем в дело. Нехай они нас половят, так мы им в руки не дадимся. Разбили нас, каюсь, по моей глупости, ну, обидно, конечно, только это не все. Мы ишо народу соберем! Как только сядем верхи, проедемся по ближним хуторам, и через неделю вокруг нас уж полсотни будет, а там и сто. Обрастем людишками, ей-богу!

— Чепуха! Глупая самоуверенность! — раздражительно сказал Капарин. — Нас казаки предали, не пошлн за нами, и не пойдут. Надо иметь мужество и смотреть правде в глаза, а не обольщаться дурацкими надеждами.

— Как это — не пойдут?

— А вот так, как не пошли вначале, так и сейчас не пойдут.

— Ну, это мы ишо поглядим! — вызывающе кинул Фомин. — Оружие я не сложу!

— Все это пустые слова, — устало сказал Капарин.

— Чортова голова! — громко воскликнул вскипевший Фомин. — Чего ты тут панику разводишь? Осточертел ты мне со своими слезьми хуже горькой редьки! Из-за чего же тогда отгород было городить? К чему было восставать? Куда ты лез, ежели у тебя кишка такая слабая? Ты первый подбивал меня на восстание, а зараз в кусты? Чего же ты молчишь?

— А не об чем мне с тобой разговаривать, ступай ты к чорту, дурак! — истерически вскрикнул Капарин и отошел, зябко кутаясь в полушубок, подняв воротник.

— Они, эти благородные люди, все такие тонкокожие. Чуть что — и он готов уже, спекся... — со вздохом проговорил Фомин.

Некоторое время они сидели молча, вслушиваясь в ровный и мощный гул воды. Над головами их, надсадно крикая, пролетела утка, преследуемая двумя селезнями. Оживленно щебечущая стайка скворцов снизилась над поляной, но, завидев людей, взмыла вверх, сворачиваясь на лету черным жгутом.

Спустя немного Капарин подошел снова.

— Я хочу поехать сегодня в хутор, — сказал он, глядя на Фомина и часто моргая.

— Зачем?

— Странный вопрос! Разве ты не видишь, что я окончательно простудился и уже почти не держусь на ногах?

— Ну, так что? В хуторе твоя простуда пройдет, что ли? — с невозмутимым спокойствием спросил Фомин.

— Мне необходимо хотя бы несколько ночей побыть в тепле.

— Никуда ты не поедешь, — твердо сказал Фомин.

— Что же мне, погибать здесь?

— Как хочешь.

— Но почему я не могу поехать? Ведь меня доконают эти ночевки на холоде!

— А ежели тебя захватят в хуторе? Об этом ты подумал? Тогда доконают нас всех. Али я тебя не знаю? Ты же выдашь нас на первом допросе! Ишо до допроса выдашь, по дороге в Вешки.

Чумаков засмеялся и одобрительно кивнул головой. Он целиком был согласен со словами Фомина. Но Капарин упрямо сказал:

— Я должен поехать. Твои остроумные предположения меня не разубедили.

— А я тебе сказал — сиди и не рыпайся.

— Но пойми же, Яков Ефимович, что я больше не могу жить этой звериной жизнью! У меня плеврит и, может быть, даже воспаление легких!

— Выздоровеешь. Полежишь на солнышке и выздоровеешь.

Капарин резко заявил:

— Все равно я поеду сегодня. Держать меня ты не имеешь права. Уеду при любых условиях!

Фомин посмотрел на него, подозрительно сощурился глаза, и, подмигнув Чумакову, поднялся с земли.

— А ты, Капарин, похоже, что на самом деле захворал... У тебя, должно быть, жар большой... Ну-ка, дай я попробую — голова у тебя горячая? — Он сделал несколько шагов к Капарину, протягивая руку.

Видно, что-то недоброе заметил Капарин в лице Фомина, — попятившись, резко крикнул:

— Отойди!

— Не шуми! Чего шумишь? Я только попробовать. Чего ты полахаешься? — Фомин шагнул и схватил Капарина за горло. — Сдаваться, сволочь?! — придушенно бормотнул он, и весь напрягся, сляясь опрокинуть Капарина на землю.

Григорий с трудом рознял их, пустив в ход всю свою силу.

...После обеда Капарин подошел к Григорию, когда тот развешивал на кусте свое выстиранное белье, сказал:

— Хочу с вами поговорить наедине... Давайте присядем.

Они сели на поваленный бурей, обопревший ствол тополя.

Капарин, глухо покашливая, спросил:

— Как вы смотрите на выходку этого идиота? Я искренно благодарю вас за вмешательство. Вы поступили благородно, как и подобает офицеру. Но это ужасно! Я больше не могу. Мы — как звери... Сколько дней уже, как мы не ели горячего, и потом этот сон на сырой земле... Я простудился, бок отчаянно болит. У меня, наверно, воспаление легких. Мне очень хочется посидеть у огня, поспать в теплой комнате, переменить белье... Я мечтаю о чистой, свежей рубашке, о простыне... Нет, не могу!

Григорий улыбнулся.

— Воевать хотелось с удобствами?

— Послушайте, какая это война? — с живостью отозвался Капарин. — Это не война, а бесконечные кочевки, убийства отдельных соработников, а затем бегство. Война была бы тогда, когда нас поддержал бы народ, когда началось бы восстание, а так это — не война, нет, не война!

— У нас нету другого выхода. Не сдаваться же нам?

— Да, но что же делать?

Григорий пожал плечами. Он сказал то, что не раз приходило ему на ум, когда он отлеживался тут, на острове:

— Плохая воля все-таки лучше хорошей тюрьмы. Знаете, как говорят в народе: крепка тюрьма, да чорт ей рад.

Капарин палочкой чертил на песке какие-то фигуры, после долгого молчания сказал:

— Не обязательно сдаваться, но надо искать какие-то новые формы борьбы с большевиками. Надо расстаться с этим гнусным народом. Вы — интеллигентный человек...

— Ну, какой там из меня интеллигент, — усмехнулся Григорий. — Я и слово-то это со трудом выговариваю.

— Вы офицер.

— Это по нечаянности.

— Нет, без шуток, вы же офицер, вращались в офицерском обществе, видели настоящих людей, вы же не советский выскочка, как Фомин, и вы должны понимать, что нам бессмысленно оставаться здесь. Это равносильно самоубийству. Он подставил нас в дубраве под удар и, если с ним и дальше связывать нашу судьбу, — подставит еще не раз. Он попросту хам, да к тому же еще буйный идиот! С ним мы пропадем!

— Так, стало быть, не сдаваться, а уйти от Фомина? Куда? К Маслаку? — спросил Григорий.

— Нет. Это такая же авантюра, только масштабом крупнее. Сейчас я иначе смотрю на это. Уходить надо не к Маслаку...

— А куда же?

— В Вешенскую.

Григорий с досадой пожал плечами.

— Это называется — опять за рыбу деньги. Не подходит это мне.

Капарин посмотрел на него остро заблестевшими глазами.

— Вы меня не поняли, Мелехов. Могу я вам довериться?

— Вполне.

— Честное слово офицера?

— Честное слово казака.

Капарин глянул в сторону возившихся у стоянки Фомина и Чумакова, и хотя расстояние до них было порядочное и они никак не могли слышать происходившего разговора, — понизил голос:

— Я знаю ваши отношения с Фоминым и другими. Вы среди них — такое же инородное тело, как и я. Меня не интересуют причины, заставившие вас

пойти против советской власти. Если я правильно понимаю, это — ваше прошлое и боязнь ареста, не так ли?

— Вы сказали, что вас не интересуют причины.

— Да-да, это к слову, — теперь несколько слов о себе. Я в прошлом офицер и член партии социалистов-революционеров, позднее я решительно пересмотрел свои политические убеждения... Только монархия может спасти Россию. Только монархия! Само провидение указывает этот путь нашей родине. Эмблема советской власти — молот и серп, так? — Капарин палочкой начертил на песке слова «молот, серп», потом впился в лицо Григория горячею блестящими глазами: — Читайте наоборот. Прочли? Вы поняли? Только престолом окончится революция и власть большевиков! Знаете ли, меня охватил мистический ужас, когда я узнал об этом! Я трепетал, потому что это, если хотите, — божий перст, указывающий конец нашим метаниям...

Капарин задохнулся от волнения и умолк. Его острые, с тихой сумасшедшинойкой глаза были устремлены на Григория. Но тот вовсе не трепетал и не испытывал мистического ужаса, услышав такое откровение. Он всегда трезво и буднично смотрел на вещи, потому и сказал в ответ:

— Никакой это не перст. Вы в германскую войну на фронте были?

Озадаченный вопросом, Капарин ответил не сразу:

— Собственно, почему вы об этом? Нет, непосредственно на фронте я не был.

— А где же вы проживали в войну? В тылу?

— Да.

— Все время?

— Да, то-есть не все время, но почти. А почему вы об этом спрашиваете?

— А я на фронте с четырнадцатого года и по нынешний день с небольшими перерывами. Так вот насчет этого перста... Какой там может быть перст, когда и бога-то нету? Я в эти глупости верить давно перестал. С пятнадцатого года, как нагляделся на войну, так и надумал, что бога нету. Никакого!

Ежели бы был — не имел бы права допускать людей до такого беспорядка. Мы — фронтовики — отменили бога, оставили его одним старикам да бабам. Пущай они потешаются. И перста никакого нету, и монархии быть не может. Народ ее кончил раз навсегда. А это, что вы показываете, буквы разные перевертываете, это, извините меня, — детская забава, не больше. И я трошки не пойму — к чему вы все это подводите? Вы мне говорите попроще да покороче. Я в юнкерском не учился и не дюже грамотный, хотя и офицером был. Ежели бы я пограмотнее был, может и не сидел бы тут с вами на острове, как бирюк, отрезанный половодьем, — закончил он с явственным прозвучавшим в голосе сожалением.

— Это не важно, — торопливо сказал Капарин. — Не важно, верите вы в бога или нет. Это — дело ваших убеждений, вашей совести. Точно так же не имеет значения — монархист вы или учредилец, или просто казак, стоящий на платформе самостоятельности. Важно, что нас объединяет единство отношений к советской власти. Вы согласны с этим?

— Дальше.

— Мы делали ставку на всеобщее восстание казаков, так? Она оказалась битой. Теперь надо выпутываться из этого положения. С большевиками можно бороться и потом, и не только под начальством какого-то Фомина. Важно сейчас сохранить себе жизнь, поэтому я и предлагаю вам союз.

— Какой союз? Против кого?

— Против Фомина.

— Не понимаю.

— Все очень просто. Я приглашаю вас в сообщники... — Капарин заметно волновался и говорил уже прерывисто дыша: — Мы с вами убиваем эту тройцу и идем в Вешенскую, понятно? Это нас спасет. Эта заслуга перед советской властью избавляет нас от наказания. Мы живем! Вы понимаете, живем!.. Спасаем себе жизнь! Само собой разумеется, что в будущем при случае мы выступаем против большевиков. Но тогда, когда будет серьезное дело, а не

такая авантюра, как с этим несчастным Фоминым. Согласны? Учтите, что это — единственный выход из нашего безнадежного положения, и притом блистательный выход.

— Но как это сделать? — спросил Григорий, внутренне содрогаясь от возмущения, но всеми силами стараясь скрыть охватившее его чувство.

— Я все обдумал: мы сделаем это ночью, холодным оружием, на следующую ночь приезжает этот казак, который снабжает нас продуктами, мы переезжаем Дон, — вот и всё. Гениально просто, и никаких ухищрений!

С притворным добродушием, улыбаясь, Григорий сказал:

— Это здорово! А скажите, Капарин, вы утром, когда собирались в хутор греться... Вы в Вешки собирались? Фомин разгадал вас?

Капарин внимательно посмотрел на добродушно улыбавшегося Григория и сам улыбнулся, слегка смущенно и невесело.

— Откровенно говоря — да. Знаете ли, когда стоит вопрос о собственной шкуре — в выборе средств не особенно стесняешься.

— Выдали бы нас?

— Да, — честно признался Капарин. — Но вас лично я постарался бы ограждать от неприятностей, если б вас взяли здесь, на острове.

— А почему вы один не побили нас? Ночью это легко было сработать

— Риск. После первого выстрела остальные...

— Клади оружие! — сдержанно сказал Григорий, выхватывая наган... — Клади, а то убью на месте! Я зараз встану, заслону тебя спиной, чтобы Фомин не видал, и ты кинешь наган мне под ноги. Ну?! Не вздумай стрелять! Положу при первом движении.

Капарин сидел, мертвенно бледнея.

— Не убивайте меня! — прошептал он, еле шевеля белыми губами.

— Не буду. А оружие возьму.

— Вы меня выдадите...

По заросшим щекам Капарина показались слезы. Григорий сморщился от омерзения и жалости, повысил голос:

— Бросай наган! Не выдам, а надо бы! Ну, и хлюст ты оказался! Ну, и хлюст!

Капарин бросил револьвер к ногам Григория.

— А браунинг? Давай и браунинг. Он у тебя во френче, в грудном кармане.

Капарин вынул и бросил блеснувший никелем браунинг, закрыл лицо руками. Он вздрагивал от сотрясавших его рыданий.

— Перестань, ты, сволочь! — резко сказал Григорий, с трудом удерживаясь от желания ударить этого человека.

— Вы меня выдадите... Я погиб!

— Я тебе сказал, что нет. Но как только передем с острова — копти на все четыре стороны. Такой ты никому не нужен. Ищи сам себе укрытия.

Капарин отнял от лица руки. Мокрое, багровое лицо его с опухшими глазами и трясущейся нижней челюстью было страшно.

— Зачем же тогда... Зачем вы меня обезоружили? — заикаясь спросил он.

Григорий нехотя сказал:

— А это — чтобы ты мне в спину не выстрелил. От вас, от ученых людей, всего можно ждать... А все про какой-то перст толковал, про царя, про бога... До чего же ты склизкий человек...

Не взглянув на Капарина, время от времени сплевывая обильно набегавшую слюну, Григорий медленно пошел к стоянке.

Стерлядников сшивал дратвой скошевку на седле, тихо посвистывал. Фомин и Чумаков, лежа на попонке, по обыкновению играли в карты.

Фомин коротко взглянул на Григория, спросил:

— Чего он тебе говорил? Об чем речь шла?

— На жизнь жаловался... Болтал, так, абы что...

Григорий сдержал обещание — не выдал Капарина. Но вечером незаметно вынул из капаринской винтовки затвор, спрятал его. «Чорт его знает, на что он может ночью решиться...» — думал он, укладываясь на ночлег.

Утром его разбудил Фомин. Наклонившись, он тихо спросил:

— Ты забрал у Капарина оружие?

— Что? Какое оружие? — Григорий приподнялся, с трудом расправил плечи.

Он уснул только перед рассветом и сильно озяб на заре. Шинель его, папаха, сапоги — все было мокрое от упавшего на восходе солнца тумана.

— Оружие его не найдем. Ты забрал? Да проснись же ты, Мелехов!

— Ну, я. А в чем дело?

Фомин молча отошел. Григорий встал, отряхнул шинель. Чумаков неподалеку готовил завтрак: он ополоснул единственную в лагере миску, — прижав к груди буханку хлеба, отрезал четыре ровных ломтя, налил из кувшина в миску молока и, раскрошив комок круто сваренной пшенной каши, глянул на Григория.

— Долго ты, Мелехов, зорюешь нынче. Гляди, солнышко-то где!

— У кого совесть чистая, энтот всегда хорошо спит, — сказал Стерлядников, вытирая о полу шинели чисто вымытые деревянные ложки. — А вот Капарин всю ночь не спал, все ворочался...

Фомин, молча улыбаясь, смотрел на Григория.

— Садитесь завтракать, разбойнички! — предложил Чумаков.

Он первый зачерпнул ложкой молока, откусил добрых пол-ломтя хлеба. Григорий взял свою ложку, — внимательно оглядывая всех, спросил:

— Капарин где?

Фомин и Стерлядников молча ели, Чумаков пристально смотрел на Григория и тоже молчал.

— Капарина куда дели? — спросил Григорий, смутно догадываясь о том, что произошло ночью.

— Капарин теперь далеко, — безмятежно улыбаясь, ответил Чумаков. — Он в Ростов поплыл. Теперь, небось, уже возле Усть-Хопра качается... Вон его полушубочек висит, погляди.

— На самом деле, убили? — спросил Григорий, мельком глянув на капаринский полушубок.

Об этом можно было бы и не спрашивать. И так все было ясно, но он

почему-то спросил. Ему ответили не сразу, и он повторил вопрос.

— Ну, ясное дело — убили, — сказал Чумаков, и прикрыл ресницами серые, женственно красивые глаза. — Я убил. Такая уж у меня должность — убивать людей...

Григорий внимательно посмотрел на него. Смуглое, румяное и чистое лицо Чумакова было спокойно и даже весело. Белесые, с золотистым отливом усы резко выделялись на загорелом лице, оттеняя темную окраску бровей и зачесанных назад волос. Он был по-настоящему красив и скромен на вид, этот заслуженный палач фоминовской банды... Он положил на брезент ложку, тыльной стороной ладони вытер усы, сказал:

— Благодарю Якова Ефимыча, Мелехов. Это он спас твою душеньку, а то и ты бы зараз вместе с Капаринным в Дону плавал...

— Это за что же?

Чумаков медленно, с расстановкой заговорил:

— Капарин, как видно, сдаваться захотел, с тобой вчера об чем-то долго разговаривал... Ну, мы с Яковом Ефимычем и надумали убрать его от греха. Можно ему все рассказывать? — Чумаков вопросительно посмотрел на Фомина.

Тот утвердительно качнул головой, и Чумаков, с хрустом дробя зубами неразварившееся пшено, продолжал рассказ:

— Приготовил я с вечера дубовое полено и говорю Якову Ефимычу: «Я их обоих, и Капарина и Мелехова, ночью порешу». А он говорит: «Капарина кончай, а Мелехова не надо». На том и согласились. Подкараулил я, когда Капарин уснул, слышу — и ты спишь, похрапываешь. Ну, подполз и ткнул поленом по голове. И ножками наш штаб-капитан не дрыгнул! Сладко так потянулся — и покончил жизнь... Потихонечку обыскали его, потом взяли за ноги и за руки, донесли до берега, сняли сапоги, френчик, полушубок — и в воду его. А ты все спишь, сном-духом ничего не знаешь... Ближе от тебя, Мелехов, смерть нынешнюю

ночь стояла! В головах она у тебя стояла. Хотя Яков Ефимыч и сказал, что тебя трогать не надо, а я думаю: «Об чем они могли днем гутарить? Дохлое это дело, когда из пятерых двое начинают на издалеке держаться, секреты разводить...». Подкрался к тебе, и уже хотел тебя рубануть с потягом, а то думаю — вдарь его поленом, а он, чорт, здоровый на силу, вскочит и начнет стрелять, ежели не оглушу сразу... Ну, Фомина опять мне все дело перебил. Подошел и шепчет: «Не трогай, он наш человек, ему можно верить». То да се, а тут непонятно нам стало — куда капаринское оружие делось? Так и ушел я от тебя. Ну, и крепко же ты спал, беды не чуял!

Григорий спокойно сказал:

— И зря бы убил, дурак! Я в сговоре с Капаринным не состоял.

— А с чего же это оружие его у тебя оказалось?

Григорий улыбнулся:

— Я у него пистолеты ишо днем отобрал, а затвор вечером вынул, под седельный потник схоронил.

Он рассказал о вчерашнем разговоре с Капаринным и о его предложении.

Фомина недовольно спросил:

— Почему же ты вчера об этом не сказал?

— Пожалел его, чорта слюнявого, — откровенно признался Григорий.

— Ах, Мелехов, Мелехов! — воскликнул искренно удивленный Чумаков. — Ты жалость туда же клади, куда затвор от капаринской винтовки положил, — под потник хорони ее, а то она тебя к добру не приведет!

— Ты меня не учи. С твое-то я знаю, — холодно сказал Григорий.

— Учить мне тебя зачем же? А вот ежели бы ночью, через эту твою жалость, ни за что, ни про что на тот свет тебя отправил бы, — тогда как?

— Туда и дорога была бы, — подумав, тихо ответил Григорий. И больше для себя, чем для остальных, добавил: — Это в яви смерть живому принимать страшно, а во время сна она, должно быть, легкая...

Глава XV

В конце апреля ночью они переправились на баркасе через Дон. В Рубежном у берега их поджидал молодой казак с хутора Нижне-Кривского, Кошелев Александр.

— Я с вами, Яков Ефимыч. Остобрыдло дома проживать, — сказал он, здороваясь с Фоминым.

Фомин толкнул Григория локтем, шепнул:

— Видишь? Я же говорил... Не успели перебраться с острова, а народ уже — вот он! Это — мой знакомец, боевой казачишка. Хорошая примета! Значит, дело будет!

Судя по голосу, Фомин довольно улыбался. Он был явно обрадован появлением нового соучастника. Удачная переправа, и то, что сразу же к ним примкнул еще один человек, — все это подбадривало его и окрыляло новыми надеждами.

— Да у тебя, кроме винтовки с наганом, и шашка, и бинокль? — довольно говорил он, рассматривая, ощупывая в темноте вооружение Кошелева. — Вот это — казак! Сразу видно, что настоящий казак, без подмеса!

Двояродный брат Фомина подъехал к берегу на запряженной в повозку крохотной лошаденке.

— Кладите на повозку седла, — вполголоса сказал он. — Да поспешайте, ради христа, а то и время не раннее, да и дорога нам не близкая...

Он волновался, торопил Фомина, а тот, перебравшись с острова и почуяв под ногами твердую землю родного хутора, уже непрочь был бы и домой заглянуть на часок, и проведать знакомых хуторян...

Перед рассветом в табуне около хутора Ягодного выбрали лучших лошадей, оседлали их. Старика, стерегшему табун, Чумаков сказал:

— Дедушка, об конях дюже не горюй. Они доброго слова не стоят, да и поедем мы на них самую малость — как только найдем получше, этих возвратим хозяевам. Ежели спросят: кто, мол, коней угнал? — скажи: милиция станицы Краснокутской забрала. Пу-

щай хозяева туда идут... Мы за бандой гоняем, так и скажи!

С братом Фомина распрощались, выехав на шлях, потом свернули налево, и все пятеро свежей рысью пошли на юго-запад. Где-то неподалеку от станицы Мешковской, по слухам, появилась на-днях банда Масляка. Туда и держал путь Фомин, решившийся на слияние.

★

В поисках банды Масляка трое суток колесили они по степным дорогам правобережья, избегая больших хуторов и станиц. В тавричанских поселках, граничивших с землями Каргинской станицы, обменяли своих плохоньких лошадей на сытых и легких на побезку тавричанских коней.

На четвертые сутки утром, неподалеку от хутора Вежи, Григорий первый заметил на дальнем перевале походную колонну конницы. Не меньше двух эскадронов шло по дороге, а впереди и по сторонам двигались небольшие разъезды.

— Либо Маслак, либо... — Фомин приложил к глазам бинокль.

— Либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет, — насмешливо сказал Чумаков. — Ты гляди лучше, Яков Ефимыч, а то, ежели это красные, нам надо поворачивать, да поскорее!

— А чорт их отсюда разглядит! — с досадой проговорил Фомин.

— Глядите! Они нас узрили! Разъезд сюда бежит! — воскликнул Стерлядников.

Их, действительно, увидели. Продвигавшийся правой стороной разъезд круто повернул, на-рысях направляясь к ним. Фомин поспешно сунул в футляр бинокль, но Григорий, улыбаясь, перегнулся с седла, взял фоминовского коня под уздцы.

— Не спеши! Давай подпустим ближе. Их только двенадцать человек. Разглядим их как следует, а в случае чего можно и ускакать. Кони под нами свежие, чего ты испужался? Гляди в бинокль!

Двенадцать всадников шли на сближение, с каждой минутой всё более

увеличиваясь в размерах. На зеленом фоне поросшего молодой травой бугра уже отчетливо видны были их фигуры.

Григорий и остальные с нетерпением смотрели на Фомина. У того слегка дрожали державшие бинокль руки. Он так напряженно всматривался, что по щеке, обращенной к солнцу, поползла слеза.

— Красные! На фуражках звезды!.. — наконец глухо выкрикнул Фомин и повернул коня.

Началась скачка. Вслед им зазвучали редкие разрозненные выстрелы. Версты четыре Григорий скакал рядом с Фоминым, изредка оглядываясь.

— Вот и соединились!.. — насмешливо сказал он.

Фомин подавленно молчал. Чумаков, слегка придержав коня, крикнул:

— Надо уходить мимо хуторов! Попадимся на вешенский отвод, там глуше.

Еще несколько верст бешеной скачки, и кони сядут. На вытянутых шеях их проступила пенная испарина, глубоко залегли продольные складки.

— Надо полегче! Придерживай! — командовал Григорий.

Из двенадцати всадников сзади осталось только девять, остальные отстали. Григорий смерял глазами разделявшее их расстояние, крикнул:

— Стой! Давайте их обстреляем!..

Все пятеро свели лошадей на рысь, на ходу спешились и сняли винтовки.

— Держи повод! По крайнему слева с постоянного прицепа... огонь!

Они расстреляли по обойме, убили под одним из красноармейцев лошадь, и снова стали уходить от погони. Их преследовали неохотно. Время от времени обстреливали с далекого расстояния, потом отстали совсем.

— Коней надо попоить, вон пруд, — сказал Стерлядников, указывая плетью на синевшую вдали полоску степного пруда.

Теперь они ехали уже шагом, внимательно оглядывая встречные ложбинки и балки, стараясь пробираться так, чтобы их прикрывали неровные складки местности.

В пруду напоили лошадей и снова тронулись в путь, сначала шагом, а спустя немного — рысью. В полдень остановились покормить лошадей на склоне глубокого лога, наискось пересекавшего степь. Фомин приказал Кошелеву пешком подняться на ближний курган, залечь там и вести наблюдение. В случае появления где-либо в степи верховых Кошелев должен был подать сигнал и немедленно бежать к лошадям.

Григорий стреножил своего коня, пустил на попас, а сам прилег неподдающему, выбрав на косогоре место посуше.

Молодая трава здесь, на подсолнечной стороне лога, была выше и гуще. Пресное дыхание согретого солнцем чернозема не могло заглушить тончайшего аромата доцветающих степных фиалок. Они росли на брошенной залежи, пробивались между сухими будильями доныка, цветным узором стлались по краям давнишней межи, и даже на кремнисто крепкой целине из прошлогодней поблекшей травы смотрели на мир их голубые, детски чистые глаза. Фиалки доживали положенный им срок в этой глухой и широкой степи, а на смену им, по склону лога, на солонцах уже поднимались сказочно яркие тюльпаны, подставляя солнцу свои пунцовые, желтые и белые чашечки, и ветер, смешав разнородные запахи цветов, далеко разносил их по степи.

На крутой осыпи северного склона, затененные обрывом, еще лежали слитые, сочащиеся влагой пласты снега. От них несло холодом, но холод этот еще резче подчеркивал аромат доцветающих фиалок, неясный и грустный, как воспоминание о чем-то дорогом и давно минувшем...

Григорий лежал, широко раскинув ноги, опершись на локти, и жадными глазами озирал повитую солнечной дымкой степь, синеещие на дальнем гребне сторожевые курганы, переливающиеся текучее марево на грани склона. На минуту он закрывал глаза и слышал близкое и далекое пение жаворонков, легкую поступь и фырканье пасущихся лошадей, звяканье удил и ше-

лест ветра в молодой траве... Странное чувство отрешения и успокоенности испытывал он, прижимаясь всем телом к жесткой земле. Это было давно знакомое ему чувство. Оно всегда приходило после пережитой тревоги, и тогда Григорий как бы заново видел все окружающее. У него словно бы обострились зрение и слух, и все, что ранее проходило незамеченным, — после пережитого волнения привлекало его внимание. С равным интересом следил он сейчас и за гудящим косым полетом ястреба-перепелятника, преследовавшего какую-то крохотную птичку, и за медлительным ходом черного жука, с трудом преодолевавшего расстояние между его, Григория, раздвинутыми локтями, и за легким покачиванием багряно-черного тюльпана, чуть колеблемого ветром, блистающего яркой девичьей красотой. Тюльпан рос совсем близко, на краю обвалившейся сурчины. Стоило лишь протянуть руку, чтобы сорвать его, но Григорий лежал не шевелясь, с молчаливым восхищением любуясь цветком и тугими листьями стебля, ревниво сохранявшими в складках радужные капли утренней росы. А потом переводил взгляд и долго, бездумно следил за орлом, парившим над небосклоном, над мертвым городищем брошенных сурчин...

Часа через два они снова сели на лошадей, стремясь достигнуть к ночи знакомых хуторов Еланской станицы.

Красноармейский разъезд, вероятно, по телефону сообщил о их продвижении. При въезде в слободу Каменку откуда-то из-за речки навстречу им зашелкали выстрелы. Певучий свист пуль заставил Фомина свернуть в сторону. Под обстрелом проскакали краем слободы и вскоре выбрались на табунные земли Вешенской станицы. За поселком Топкая Балка их попробовал перехватить небольшой отряд милиции.

— Околемся их с левой стороны, — предложил Фомин.

— Пойдем в атаку, — решительно сказал Григорий. — Их девять человек, нас пятеро. Прорвемся!

Его поддержали Чумаков и Стерлядников. Обнажив шашки, они пустили

усталых лошадей легким наметом. Не спешиваясь, милиционеры открыли частую стрельбу, а потом поскакали в сторону, не приняв атаки.

— Это — слабосильная команда. Они протоколы писать мастера, а драться всурьез им слабо! — насмешливо крикнул Кошелев.

Отстреливаясь, когда увязавшиеся за ними милиционеры начинали наседать, Фомин и остальные уходили на восток, уходили, как преследуемые борзыми волки: изредка огрызаясь и почти не оставаясь. Во время одной из перестрелок был ранен Стерлядников. Пуля пробила ему икру левой ноги, затронув кость. Стерлядников охнул от пронизавшей ногу боли, сказал, бледнея:

— В ногу попали... И всё в эту же, в хроющую... Вот сволочуги, а?

Чумаков, откинувшись назад, захохотал во все горло. Он смеялся так, что на глазах его выступили слезы. Подсаживая на лошадь опиравшегося на его руку Стерлядникова, он все еще вздрагивал от смеха, говорил:

— Ну, как это они выбрали? Это они нарочно туда целили... Видят — хромой какой-то скачет, дай, думают, возьтки ему эту ногу перебьем... Ох, Стерлядников! Ох, смертынька моя!.. Нога-то ишо на четверть короче станет... Как же ты теперь плясать будешь? Придется мне теперь ямку для твоей ноги на аршин глуби копать...

— Замолчи, пустобрех! Не до тебя мне! Замолчи, ради Христа! — морщась от боли, просил Стерлядников.

Полчаса спустя, когда стали выезжать на изволок одной из бесчисленных балок, он попросил:

— Давайте остановимся, повременим трошки... Надо мне рану залепить, а то крови натекло полон сапог...

Остановились. Григорий держал лошадей, Фомин и Кошелев вели редкий огонь по маячившим вдали милиционерам. Чумаков помог Стерлядникову разуться.

— А крови-то на самом деле набезало много... — хмурясь, сказал Чумаков, и вылил из сапога на землю красную жижу.

Он хотел было разрезать шашкой мокрую и парную от крови штанину, но Стерлядников не согласился.

— Штаны на мне добрые, не к чему их пороть, — сказал он и уперся ладонями в землю, поднял рашеную ногу. — Стягивай штанину, только потихоньку.

— Бинт у тебя есть? — спросил Чумаков, ощупывая карманы.

— А на чорта он нужен, твой бинт? Обойдусь и без него.

Стерлядников внимательно рассмотрел выходное отверстие раны, потом зубами вынул из патрона пулю, всыпал на ладонь пороху и долго размешивал порох с землей, предварительно размочив землю слюною. Оба отверстия сквозной раны он обильно замазал грязью и довольно проговорил:

— Это — дело спробованное! Присохнет ранка и через двое суток заживет, как на собаке.

До самого Чира они не останавливались. Милиционеры держались сзади на почтительном расстоянии, и лишь изредка оттуда звучали одиночные выстрелы. Фомин часто оглядывался, говорил:

— Провожают нас вназирку... Либо подмоги ждут со стороны? Не спроста они держатся издали...

На хуторе Вислогузовском вброд переехали речку Чир, шагом поднялись на пологий бугор. Лошади предельно устали. Под гору на них кое-как съезжали рысцой, а на гору вели в поводу, ладонями сгребая с мокрых лошадиных боков и крупов дрожащие комья гены.

Предположения Фомина сбылись: верстах в пяти от Вислогузовского их стали нагонять семь человек конных на свежих, резво бежавших лошадях.

— Ежели они нас и дальше будут так из рук в руки передавать — репутх нам будет! — мрачно сказал Кошелев.

Они ехали по степи бездорожно, отстреливались по очереди: пока двое, лежа в траве, вели огонь, — остальные отъезжали сажень на двести, спешивались и держали под обстрелом противника, давая возможность первым двум

проскакать вперед сажень четыреста, залечь и изготовиться к стрельбе. Они убили или тяжело ранили одного милиционера, под вторым убили лошадь. Вскоре была убита лошадь и под Чумаковым. Он бежал рядом с лошадью Кошелева, держась за стремя.

Длиннее становились тени. Солнце клонилось к закату. Григорий предложил не разъединяться, и они поехали шагом, все вместе. Рядом с ними шагала Чумаков. Потом они увидели на гребне бугра пароконную подводу, повернули к дороге. Пожилой бородатый казак-подводчик погнался лошадью вскачь, но выстрелы заставили его остановиться.

— Зарублю подлюгу! Будет знать, как убежать... — сквозь зубы процедил Кошелев, вырываясь вперед, изо всех сил охаживая лошадь плетью.

— Не трогай его, Сашка, не веля! — предупредил Фомин и еще издали закричал: — Распрягай, дед, слышишь?! Распрягай, пока живой!

Не слушая слезных просьб старика, сами отцепили постромки, сняли с лошадей шлеи и хомуты, живо накиннули седла.

— Оставьте хоть одну из своих взамен! — плача, просил старик.

— А того-сего не хочешь в зубы, старый чорт! — спросил Кошелев. — Нам кони самим нужны! Благодарим господу бога, что живой остался...

Фомин и Чумаков сели на свежих лошадях. К шестерым всадникам, следовавшим за ними по пятам, вскоре присоединились еще трое.

— Надо погонять! Трогайте, ребята! — сказал Фомин. — К вечеру ежели доберемся до кривских логов — тогда мы будем спасенные...

Он хлестнул плетью своего коня, поскакал вперед. Слева от него на коротком поводу шел второй конь. Средние лошадиными копытами, во все стороны летели, словно крупные капли крови, пунцовые головки тюльпанов. Григорий, скакавший сзади Фомина, посмотрел на эти красные брызги и закрыл глаза. У него почему-то закружилась голова, и знакомая острая боль подступила к сердцу...

Лошади шли из последних сил. От непрерывной скачки и голода устали и люди. Стерлядников уже покачивался в седле и сидел белый, как полотно. Он много потерял крови. Его мучила жажда и тошнота. Он съел немного зачерствевшего хлеба, но его тотчас же вырвало.

В сумерках, неподалеку от хутора Кривского они въехали в середину возвращавшегося со степи табуна, в последний раз сделали по преследователям несколько выстрелов и с радостью увидели, что погоня отстает. Девять всадников вдалеке съехались вместе, о чем-то, видимо, посоветовались, а потом повернули обратно.

★

В хуторе Кривском у знакомого Фомину казака они пробыли двое суток. Хозяин жил зажиточно и принял их хорошо. Поставленные в темный сарай лошади не поедали овса и к концу вторых суток основательно отдохнули от сумасшедшей скачки. У лошадей дневали по очереди, спали вповалку в прохладном затянутом паутиной мякиннике и отъедались вволю за все полугодные дни, проведенные на острове.

Хутор можно было бы покинуть на другой же день, но их задерживал Стерлядников: рана его разболелась, к утру по краям ее появилась краснота, а к вечеру нога распухла, и больной впал в беспамятство. Его томила жажда. Всю ночь, как только сознание возвращалось к нему, он просил воды, пил жадно, помногу. За ночь он выпил почти ведро воды, но встать даже при посторонней помощи уже не мог — каждое движение причиняло ему жестокую боль. Он мочился, не поднимаясь с земли, и стонал, не умолкая. Его перенесли в дальний угол мякинника, чтобы не так слышны были стоны, но это не помогло. Он стонал иногда очень громко, а когда к нему приходило беспамятство, в бреду громко и несвязно кричал.

Пришлось и около него установить дежурство. Ему давали воду, смачивали пылающий лоб и ладонями или шапкой закрывали рот, когда он на-

чинал слишком громко стонать или бредить.

К концу второго дня он пришел в себя и сказал, что ему лучше.

— Когда едете отсюда? — спросил он у Чумакова, поманив его к себе пальцем.

— Нынче ночью.

— Я тоже поеду. Не бросайте меня тут, ради Христа!

— Куда ты гожь? — вполголоса сказал Фомин. — Ты же и ворохнуться не можешь.

— Как — не могу? Гляди! — Стерлядников с усилием приподнялся и тотчас снова лег.

Лицо его горело, на лбу мелкими капельками выступил пот.

— Возьмем, — решительно сказал Чумаков. — Возьмем, не бойся, пожалуйста! И слезы вытри, ты — не баба.

— Это — пот, — тихо шепнул Стерлядников и нагнув голову к глазам шапку...

— И рады бы тебя тут оставить, да хозяин не соглашается. Не робей, Василий! Заживет твоя нога, и мы с тобой ишо поборемся и казачка спляшем. Чего ты духом пал, ну? Хоть бы рана сурьезная была, а то так, ерунда!

Всегда суровый и хамовитый в обращении с другими Чумаков сказал это так ласково и с такими подкупающе мягкими и сердечными нотками в голосе, что Григорий удивленно посмотрел на него.

Из хутора они выехали незадолго до рассвета. Стерлядникова с трудом усадили в седло, но самостоятельно сидеть он не мог, валился то на одну сторону, то на другую; Чумаков ехал рядом, обняв его правой рукой.

— Вот обуза-то... Придется бросить его, — шепнул Фомин, поровнявшись с Григорием, сокрушенно качая головой.

— Добить?

— Ну, а что же, в зубы глядеть ему? Куда мы с ним?

Они долго ехали шагом, молчали. Чумакова сменил Григорий, потом Кошелев.

Взошло солнце. Внизу над Доном все еще клубился туман, а на бугре уже прозрачны и ясны были степные дали,

и с каждой минутой все синее становился небосвод с застывшими в зените перистыми облачками. На траве серебряной парчою лежала густая роса, и там, где проходили лошади, — оставался темный ручьистый след. Только жаворонки скрашивали великую и благогостную тишину, распростертую над степью.

Стерлядников, в такт лошадиному шагу обезволенно мотавший головой, тихо сказал:

— Ох, тяжелехонько!

— Молчи! — грубо прервал его Фомин. — Нам с тобой нянчиться тоже не легче!

Неподалеку от Гетманского шляха из-под ног лошадей свечою взвился стрепет. Тонкий дребезжащий посвист его крыльев заставил Стерлядникова очнуться от забытья.

— Братцы, ссадите меня с коня... — попросил он.

Кошелев и Чумаков осторожно сняли его с седла, положили на мокрую траву.

— Дай хоть поглядим, что у тебя с ногой. А ну, расстегни-ка штаны! — сказал Чумаков, присаживаясь на корточки.

Нога Стерлядникова чудовищно распухла, туго, без единой морщинки натянув, заполнив всю просторную штанину. До самого бедра кожа, принявшая темнофиолетовый оттенок, лоснилась и была покрыта темными бархатистыми наощупь пятнами. Такие же пятна, только более светлой окраски, показались и на смуглом, глубоко ввалившемся животе. От раны, от засохшей на штанах бурой крови уже исходил дурной, гнилостный запах, и Чумаков рассматривал ногу своего друга, зажав пальцами нос, морщась и еле удерживая подкатившую к горлу тошноту. Потом он внимательно посмотрел на опущенные синие веки Стерлядникова и переглянулся с Фоминым, сказал:

— Похоже, что антонов огонь прикинулся... Да-а-а... Плохие твои дела, Василий Стерлядников... Прямо-таки дохлые дела!.. Эх, Вася, Вася, как это тебя угораздило...

Стерлядников коротко и часто дышал и не говорил ни слова. Фомин и Григорий спешили как по команде, с наветренной стороны подошли к раненому. Он полегал немного и, опираясь на руки, сел, оглядел всех мутными и строгими в своей отрешенности глазами.

— Братцы! Предайте меня смерти... Я уже не жилец тут... Истомился весь, нету больше моей моченьки...

Он снова лег на спину и закрыл глаза. Фомин и все остальные знали, что такая просьба должна была последовать, и ждали ее. Коротко мигнув Кошелеву, Фомин отвернулся, а Кошелев, не прекословя, сорвал с плеча винтовку. «Бей!» — скорее догадался, чем услышал он, глянув на губы отошедшего в сторону Чумакова. Но Стерлядников снова открыл глаза, твердо сказал:

— Стреляй сюда, — он поднял руку и пальцем указал себе на переносицу. — Чтобы сразу свет потух... Будете на моем хуторе — скажите бабе, мол, так и так... Нехай не ждет.

Кошелев что-то подозрительно долго возился с затвором, медлил, и Стерлядников, опустив веки, успел договорить:

— У меня — только одна баба... а детишек нету... Одного она родила и то мертвого... А больше не было...

Два раза Кошелев вскидывал винтовку и опускал ее, все больше и больше бледнее... Чумаков яростно толкнул его плечом, вырвал из рук винтовку.

— Не можешь, так не берись, щенячья кровь!.. — хрипло крикнул он и снял с головы шапку, пригладил волосы.

— Скорей! — потребовал Фомин, ставя ногу в стремя.

Чумаков, подыскивая нужные слова, медленно и тихо сказал:

— Василий! Прощай и прости меня и всех нас, ради Христа! На том свете сойдемся, и нас там рассудят... Бабетвоей перекажем, об чем просил. — Он подождал ответа, но Стерлядников молчал и бледнел, ожидая смерти. Только опаленные солнцем ресницы его вздрагивали, словно от ветра, да ти-

хо шевелились пальцы левой руки, пытавшиеся зачем-то застегнуть на груди обломанную пуговицу гимнастерки.

Много смертей видел Григорий на своем веку, а на эту — смотреть не стал. Он торопливо пошел вперед, с силой натягивая поводья, ведя за собой коня. Выстрела он ждал с таким чувством, как будто ему самому должны были всадить пулю между лопатками... Выстрела ждал, и сердце отсчитывало каждую секунду, но когда сзади резко, отрывисто громыгнуло, — у него подкосились ноги, и он еле удержал вставшего на дыбы коня...

Часа два они ехали молча. Только на стоянке Чумаков первый нарушил молчание. Закрыв глаза ладонью, он глухо сказал:

— И на чорта я его стрелял? Было бы бросить его в степи, не брать лишнего греха на душу. Так и стоит перед глазами...

— Все никак не привыкнешь? — спросил Фомин. — Сколько народу ты перебил — и не мог привыкнуть? У тебя же не сердце, ржавая железяка заместо него...

Чумаков побледнел, свирепо уставился на Фомина.

— Ты не трогай меня зараз, Яков Ефимович! — тихо сказал он. — Ты не квили мою душу, а то я и тебя могу стукнуть... Очень даже просто!

— На что ты мне нужен, трогать тебя? У меня и без тебя забот хватает, — примирительно сказал Фомин и лег на спину, щурясь от солнца, с наслаждением потягиваясь.

Глава XVI

Вопреки ожиданиям Григория за полторы недели к ним присоединилось человек сорок казаков. Это были остатки растрепанных в боях различных мелких банд. Потеряв своих атаманов, они скитались по округу и охотно шли к Фомину. Им было решительно все равно — кому бы ни служить и кого бы ни убивать, лишь бы была возможность вести привольную кочевую жизнь и грабить всех, кто попадался под руку. Это был отпетый народ, и Фомин, глядя

на них, презрительно говорил Григорию: «Ну, Мелехов, наплав¹ пошел к нам, а не люди... Висельники, как на подбор!». В глубине души Фомин все еще считал себя «борцом за трудовой народ», и, хотя не так часто, как прежде, но говорил: «Мы — освободители казачества...». Глупейшие надежды упорно не покидали его... Он снова стал сквозь пальцы смотреть на грабежи, учиняемые его соратниками, считая, что все это — неизбежное зло, с которым необходимо мириться, что со временем оно извинится от грабителей и что рано или поздно все же будет он настоящим полководцем повстанческих частей, а не атаманом крохотной банды...

Но Чумаков не стесняясь называл всех фоминовцев «разбойничками» и до хрипоты спорил, убеждая Фомина в том, что и он, Фомин, — не кто иной, как разбойник с большой дороги. Между ними, когда отсутствовали посторонние, часто возникали горячие споры.

— Я — идейный борец против советской власти! — багровея от гнева, кричал Фомин. — А ты меня обзываешь чорт-те по-каковски! Понимаешь ты это, дурак, что я сражаюсь за идею?!

— Ты мне голову не морочь! — возражал Чумаков. — Ты мне не наводишь тень на плетень. Я тебе не мальчик! Тоже, нашелся идейный! Самый натуральный разбойник ты, и больше ничего. И чего ты этого слова боишься? Никак не пойму!

— Почему ты так меня срамишь? Почему, в рот тебе погибель?! Я против власти восстал и дерусь с ней оружием, какой же я разбойник?..

— А вот потому ты и есть разбойник, что идешь супротив власти. Разбойники — они всегда супротив власти, спокон веков так. Какая бы она, советская власть, ни была, а она — власть, с семнадцатого года держится, и кто супротив нее выступает, это и есть разбойный человек.

— Пустая твоя голова! А генерал Краснов — или Деникин — тоже разбойники были?

¹ На плав — мусор, остающийся на берегах реки после половодья.

— А то кто же? Только при эполетах... Да ить эполеты — дело маленькое. И мы с тобой можем их навесить...

Фомин стучал кулаком, плевался и, не находя убедительных доводов, прекращал бесполезный спор. Убедить Чумакова в чем-либо было невозможно...

В большинстве вновь вступавшие в банду были прекрасно вооружены и одеты. Почти у всех были хорошие лошади, втянувшиеся в бесконечные переходы и без труда делавшие пробеги по сотне верст в день. У некоторых имелось по две лошади: одна шла под седлом, а вторая, именуемая заводной, — налегках, сбоку всадника. При нужде, пересаживаясь с лошади на лошадь, давая возможность им отдыхать по очереди, двуконный всадник мог сделать около двухсот верст в сутки.

Фомин как-то сказал Григорию:

— Ежели б у нас было сначала по два коня, — ни черта бы нас не угоняли! Милиции или красноармейским частям нельзя у населения брать коней, они стесняются это делать, а нам все дозволено! Надо обзаводиться каждому лишнюю лошадью, и нас сроду тогда не угоняют! Старые люди рассказывали, что в древние времена, бывало, татары так ходили в набег, каждый о-двуконь, а то и трехконным идет. Кто же таких пристигнет? Надо и нам так проделать. Мне эта татарская мудрость даже нравится!

Лошадьми они скоро разжились, и это на первое время сделало их, действительно, неуловимыми. Конная группа милиции, вновь сформированная в Вешенской, тщетно пыталась настичь их. Запасные лошади давали возможность малочисленной банде Фомина легко бросать противника и уходить от него на несколько переходов вперед, избегая рискованного столкновения.

Однако в середине мая группа, преследовавшая банду численностью почти в четыре раза, ухитрилась прижать Фомина к Дону неподалеку от хутора Бобровского станицы Усть-Хоперской. Но после короткого боя банда все же прорвалась и ушла берегом Дона, потеряв восемь человек убитыми и ранеными. Вскоре после этого Фомин предложил

Григорию занять должность начальника штаба.

— Надо нам грамотного человека, чтобы ходить по плану, по карте, а то когда-нибудь зажмут нас и опять дадут трепки. Берись, Григорий Пантелевич, за это дело.

— Чтобы милиционеров ловить да рубить им головы, штаб не нужен, — хмуро ответил Григорий.

— Всякий отряд должен иметь свой штаб, не болтай пустяков.

— Бери Чумакова на эту должность, ежели без штаба жить не можешь.

— А ты почему не хочешь?

— Понятия не имею об этом деле.

— А Чумаков имеет?

— И Чумаков не имеет.

— Тогда на кой же хрен ты мне его суешь? Ты — офицер и должен иметь понятия, тактику знать и всякие другие штуки.

— Из меня такой же офицер был, как из тебя зараз командир отряда! А тактика у нас одна: мотайся по степи да почаще оглядывайся... — насмешливо сказал Григорий.

Фомин подмигнул Григорию и погрозил пальцем.

— Вижу тебя наскрозь! Все в холодок хоронишься? В тени хочешь остаться? Это, брат, тебя не выручит! Что взводным быть, что начальником штаба — одна цена. Думаешь, ежели поймут тебя, — скидку сделают? Дождись, как же.

— Ничего я про это не думаю, зря ты догадываешься, — внимательно рассматривая темляк на шашке, сказал Григорий. — А чего не знаю — за это и братья не хочу...

— Ну, не хочешь — и не надо, как-нибудь обойдемся и без тебя, — согласился обиженный Фомин.

Круто изменилась обстановка в округе: в дворах зажиточных казаков, всюду, где раньше Фомина встречали с великим гостеприимством, теперь на засов запирали ворота, и хозяева при появлении в хуторе банды дружно разбежались, прятались в садах и левадах. Прибывшая в Вешенскую Выездная сессия Ревтрибунала строго осудила многих казаков, ранее радушно прини-

мавших Фомина. Слух об этом широко прокатился по станицам и оказал соотвествующее воздействие на умы тех, кто открыто выражал свое расположение бандитам.

За две недели Фомин сделал обширный круг по всем станицам верхнего Дона. В банде насчитывалось уже около ста тридцати сабель, и уже не наспех сформированная конная группа, а несколько эскадронов переброшенного с юга 13-го кавполка ходили за ними по пятам.

Из числа примкнувших к Фомину за последние дни бандитов многие были уроженцами дальних мест. Все они попали на Дон разными путями: некоторые в одиночку бежали с этапов, из тюрем и лагерей, но основная масса их состояла из отколовшейся от банды Маслака группы в несколько десятков сабель, а также из остатков разгромленной банды Курочкина. Маслаковцы охотно разделились и были в каждом взводе, но курочкинцы не захотели разъединяться. Они целиком составили отдельный взвод, крепко сколоченный и державшийся несколько обособленно ото всех остальных. И в боях и на отдыхе они действовали сплоченно, стояли друг за друга горой, а, разграбив где-либо лавку ЕПО или склад, всё валили в общий взводный котел и делили добычу поровну, строго соблюдая принцип равенства.

Несколько человек терских и кубанских казаков в поношенных черкесках, двое калмыков станицы Великокняжеской, латыш в охотничьих длинных до бедер сапогах и пятеро матросов-анархистов в полосатых тельняшках и выгоревших на солнце бушлатах еще больше разнообразили и без того пестро одетый, разнородный состав фоминовской банды.

— Ну, и теперь будешь спорить, что у тебя не разбойнички, а эти, как их... идейные борцы? — спросил однажды у Фомина Чумаков, указывая глазами на растянувшуюся походную колонну. — Только попа-расстриги да свиньи в штанах нам и нехватает, а то был бы полный сбор пресвятой богородицы...

Фомин перемолчал. Единственным же-

ланием его было — собрать вокруг себя как можно больше людей. Он ни с чем не считался, принимая добровольцев. Каждого, изъявлявшего желание служить под его командованием, он спрашивал сам, коротко говорил:

— К службе годен. Принимаю. Ступай к моему начальнику штаба Чумакову, он укажет, в каком взводе тебе состоять, выдаст на руки оружие.

В одном из хуторов Мигулинской станицы к Фомину привели хорошо одетого курчавого и смуглолицего парня. Он заявил о своем желании вступить в банду. Из расспросов Фомин установил, что парень — житель Ростова, был осужден недавно за вооруженное ограбление, но бежал из ростовской тюрьмы и, услышав про Фомина, пробрался на верхний Дон.

— Ты кто таков по роду-племени? Армянин али булгарин? — спросил Фомин.

— Нет, я еврей, — замявшись, ответил парень.

Фомин растерялся от неожиданности и долго молчал. Он не знал, как ему поступить в таком, столь непредвиденном, случае.

Пораскинув умом, он тяжело вздохнул, сказал:

— Ну, что ж, еврей — так еврей. Мы и такими не гребуем... Всё лишним человеком больше. А верхом ездить ты умеешь? Нет? Научись! Дадим попервам тебе какую-нибудь немудрячую кобыленку, а потом научишься. Ступай к Чумакову, он тебя определит.

Несколько минут спустя взбешенный Чумаков подскакал к Фомину.

— Ты одурел али шутки шутишь? — крикнул он, осаживая коня. — На чорта ты мне жида прислал? Не принимаю! Нехай метется на все четыре стороны!

— Возьми, возьми его, все счетом больше будет, — спокойно сказал Фомин.

Но Чумаков с пеной на губах заорал:

— Не возьму! Убью, а не возьму! Казаки ропот подняли, ступай сам с ними рядись!

Пока они спорили и пререкались, — возле обозной тачанки с молодого еврея

сняли вышитую рубашку и клешистые суконные штаны. Примеряя на себя рубашку, один из казаков сказал:

— Вон, видишь за хутором — бурьян-старюка? Беги туда рысью и ложись. Лежать будешь — пока мы уедем отсюда, а как уедем — вставай и дуй, куда хочешь. К нам больше не подходи, уедем, ступай лучше в Ростов, к мамаше. Не ваше это еврейское дело — воевать. Господь бог вас обучал торговать, а не воевать. Без вас управимся и расхлебаем эту кашку!

Еврея не приняли, зато в этот же день со смехом и шутками зачислили во второй взвод известного по всем хуторам Вешенской станицы дурачка Пашу. Его захватили в степи, привели в хутор и торжественно обрядили в снятое с убитого красноармейца обмундирование, показали, как обращаться с винтовкой, долго учили владеть шашкой.

Григорий шел к своим лошадям, стоявшим у коновязи, но увидев в стороне густую толпу, — направился туда. Взрыв хохота заставил его ускорить шаг, а затем в наступившей тишине он услышал чей-то поучающий рассудительный голос:

— Да не так же, Паша! Кто так рубит? Так дрова можно рубить, а не человека. Надо вот так, понял? Поймаешь — и сразу приказывай ему становиться на колени, а то стоячего тебе рубить будет неспособно... Станет он на колени, и ты вот так, сзади, и секани его по шее... Норови не прямо рубить, а с потягом на себя, чтобы лезвие резало, шло наискось...

Окруженный бандитами, юродивый стоял на-вытяжку, крепко сжимая эфес обнаженной шашки. Он слушал наставления одного из казаков, улыбаясь и блаженно жмуря выпученные серые глаза. В углах рта его, словно у лошади, белели набитые пенистые заеди, по медно-красной бороде на грудь обильно текли слюни... Он облизывал нечистые губы и шепеляво, косноязычно говорил:

— Все понял, родненький, все... Так и сделаю... поставлю на коленочки раба божьего и шеечку ему перережу... как есть перережу! И штаны вы мне дали,

и рубаху, и сапоги... Вот только пальта у меня нету... Вы бы мне пальтишечку справили, а я вам угожу! Изю всех слов постараясь!

— Убеешь какого-нибудь комиссара — вот тебе и пальто. А зараз расказал бы, как тебя в прошлом году женили, — предложил один из казаков.

В глазах юродивого, расширившихся и одетых мутной наволочью, мелькнул животный страх. Он длинно выругался и под общий хохот стал что-то говорить. Так омерзительно было все это, что Григорий содрогнулся, поспешно отошел. «И вот с такими людьми связал я свою судьбу...» — подумал он, охваченный тоской, горечью и злобой на самого себя, на всю эту постылую жизнь...

Он прилег возле коновязи, стараясь не слушать выкриков юродивого и грочущего хохота казаков. «Завтра же уеду. Пора!» — решил он, поглядывая на своих сытых, поправившихся лошадей. Он готовился к уходу из банды тщательно и обдуманно. У зарубленного милиционера взял документы на имя Ушакова, зашил их под подкладку шинели. Лошадей стал подготавливать к короткому, но стремительному пробегу еще две недели назад: во-время поил их, чистил так старательно, как не чистил и на действительной службе, всеми правдами и неправдами добывал на ночевках зерно, и лошади его выглядели лучше, чем у всех остальных, особенно — тавричанский серый в яблоках конь. Он весь лоснился, и шерсть его сверкала на солнце как кавказское черное серебро.

На таких лошадях можно было смело уходить от любой погони. Григорий встал, пошел в ближний двор. У старухи, сидевшей на порогах амбара, почтительно спросил:

— Коса есть у вас, бабушка?

— Где-то была. Только чума ее знает, где она. А на что тебе?

— Хотел в вашей леваде зеленки лошадям скосить. Можно?

Старуха подумала, потом сказала:

— И когда уж вы с нашей шеи слезете? То вам дай, это подай... Одни приедут — зерна требуют, другие приедут — тоже тянут и волокут всё, что

глазом накинута. Не дам я тебе косы! Как хочешь, а не дам.

— Что ж, тебе травы жалко, божья старуха?

— А трава, она, что ж, по-твоему, на пустом месте растет? А корову чем я буду кормить?

— Мало в степи травы?

— Вот и поезжай туда, соколики. В степи ее много.

Григорий с досадой сказал:

— Ты, бабушка, лучше дай косу. Я трошки скошу, остальное тебе останется, а то, ежели пугим туда лошадей, — всё потравим!

Старуха сурово глянула на Григория и отвернулась.

— Ступай сам возьми, она, никак, под сараем висит.

Григорий разыскал под сараем старенькую, порванную косу и, когда проходил мимо старухи, — отчетливо слышал, как та проговорила: «Погибели на вас, проклятых, нету!».

К этому было не привыкать Григорию. Он давно видел, с каким настроением встречают их жители хуторов. «Они правильно рассуждают, — думал он, осторожно вымахивая косой и стараясь выкашивать чище, без орехов. — На чорта мы им нужны? Никому мы не нужны, всем мешаем мирно жить и работать. Надо кончать с этим, хватит!».

Занятый своими мыслями, он стоял около лошадей, смотрел, как жадно хватают они черными бархатистыми губами пучки нежной молодой травы. Из задумчивости его вывел юношески ломающийся басок:

— До чего конь расхорош, чисто — лебедь!

Григорий глянул в сторону говорившего. Молодой, недавно вступивший в банду казачишка Алексеевской станицы смотрел на серого коня, восхищенно покачивая головой. Не сводя очарованных глаз с коня, он несколько раз обошел вокруг него, пощелкал языком.

— Твой, что ли?

— А тебе чего? — неласково ответил Григорий.

— Давай меняться! У меня гнедой — чистых донских кровей, любую препят-

ствию берет, и резвый, до чего резвый! Как молонья!

— Ступай к чорту, — холодно сказал Григорий.

Парень помолчал немного, вздохнул огорченно и сел неподалеку. Он долго рассматривал серого, потом сказал:

— Он у тебя с запалом. И отдушины у него нету.

Григорий молча ковырял в зубах соломинкой. Наивный паренек ему начал нравиться.

— Не будешь меняться, дяденька? — тихо спросил тот, глядя на Григория просящими глазами.

— Не буду. И самого тебя в додачу не возьму.

— А откуда у тебя этот конь?

— Сам выдумал его.

— Нет, взаправди!

— Все из тех же ворот: кобыла ожеребила.

— Вот и погутарь с таким дураком, — обиженно проговорил парень и отошел в сторону.

Пустой, словно вымерший, лежал перед Григорием хутор. Кроме фоминовцев, ни души не было видно вокруг. Брошенная на проулке арба, дровосека во дворе с наспех воткнутым в нее топором и с недотесанной доской возле, взналыганые быки, лениво щипавшие посреди улицы низкорослую траву, опрокинутое ведро около колодезного сруба — все говорило о том, что мирное течение жизни в хуторе было неожиданно нарушено и что хозяйева, бросив незаконченными свои дела, куда-то скрылись.

Такое же безлюдье и такие же следы поспешного бегства жителей видел Григорий, когда казачьи полки ходили по Восточной Пруссии. Теперь довелось ему увидеть это же в родном краю... Одинаково угрюмыми и ненавидящими взглядами встречали его тогда — немцы, теперь — казаки Верхнего Дона. Григорий вспомнил разговор со старухой и тоскливо огляделся по сторонам, расстегнув ворот рубашки. Опять подступила к сердцу проклятая боль...

Жарко калило землю солнце. Пахло на проулке пресным запахом пыли, ле-

бедой и конским потом. В левадах, на высоких вербах, усеянных лохматыми гнездами, кричали грачи. Степная речушка, вскормленная где-то в вершине лога ключами родниковой воды, медленно текла по хутору, деля его на две части. С обеих сторон к ней сползали просторные казачьи дворы, все в густой заросли садов, с вишнями, заслонившими окна куреней, с разлапистыми яблонями, простирившими к солнцу зеленую листву и молодую завязь плодов.

Затуманившимися глазами смотрел Григорий на поросший кучерявым подорожником двор, на крытую соломой хату с желтыми ставнями, на высокий колодезный журавль... Возле гумна, на одном из кольев старого плетня висел лошадиный череп, выбеленный дождями, черневший провалами порожних глазниц. По этому же колу, свиваясь спиралью, ползла, тянулась к свету зеленая тыквенная плеть. Она достигла верхушки кола, цепляясь мохнатыми усиками за выступы черепа, за мертвые лошадиные зубы, и свесившийся кончик ее, ища опоры, уже доставал ветку стоявшего неподалеку куста калины.

Во сне или в далеком детстве видел все это Григорий? Охваченный внезапным приступом горячей тоски, он лег под плетень ничком, закрыл лицо ладонями, и поднялся только тогда, когда издали донеслось протяжное: «Сед-ла-а-ай коней!».

Ночью на походе он выехал из рядов, остановился как будто для того, чтобы переседлать коней, а потом прислушался к медленно удалявшемуся, затихавшему цокоту конских копыт и, вскочив в седло, наметом поскакал в сторону от дороги.

Верст пять он гнал лошадей, не останавливаясь, а потом перевел их на шаг, прислушался — не идет ли сзади погоня? В степи было тихо. Только жалобно перекликались на песчаных бурунах кулики да где-то далеко-далеко чуть слышно звучал собачий лай.

В черном небе — золотая россыпь мерцающих звезд. В степи — тишина и ветерок, напиганный родным и горьким запахом полыни... Григорий приподнял

ся на стремянах, вздохнул облегченно, полной грудью...

Глава XVII

Задолго до рассвета он прискакал на луг против Татарского. Ниже хутора, где Дон был мельче, разделся донага, привязал к лошадиным головам одежду, сапоги, оружие, и, держа в зубах подсумок с патронами, вместе с лошадьми пустился вплавь. Вода обожгла его нестерпимым холодом. Стараясь согреться, он быстро загребал правой рукой, не выпуская из левой связанных поводьев, вполголоса подбадривая стонущих и фыркающих на плыву лошадей.

На берегу торопливо оделся, подтянул подпруги седла, и, чтобы согреть лошадей, шибко поскакал к хутору. Намокшая шинель, мокрые крылья седла, влажная рубашка охладили тело. Зубы Григория стучали, по спине бежал озноб, и сам он весь дрожал, но вскоре быстрая езда его разогрела и неподалеку от хутора он поехал шагом, осматриваясь по сторонам и чутко прислушиваясь. Лошадей решил оставить в яру. По каменистой россыпи спустился в теклину яра. Под копытами лошадей сухо защелкали камни, посыпались высекаемые подковами огненные брызги.

Григорий привязал лошадей к знакомому с детства сухому караичу, пошел в хутор.

Вот и старый мелеховский курень, темные купы яблонь, колодезный журавль под Большой Медведицей... Задыхаясь от волнения, Григорий спустился к Дону, осторожно перелез через плетень астаховского база, подошел к не прикрытому ставнями окну. Он слышал только частые удары сердца да глухой шум крови в голове. Тихо постучал в переплет рамы, так тихо, что сам почти не расслышал стука. Аксинья молча подошла к окну, всмотрелась. Он увидел, как она прижала к груди руки, и услышал сорвавшийся с губ ее невнятный стон. Григорий знаком показал, чтобы она открыла окно, снял винтовку. Аксинья распахнула створки.

— Тише! Здравствуй! Не отпирай дверь, я — через окно, — шопотом сказал Григорий.

Он стал на завалинку. Голые руки Аксиньи охватили его шею. Они так дрожали и бились на его плечах, эти родные руки, что дрожь их передалась и Григорию.

— Ксюша... погоди... возьми винтовку, — запинаясь, чуть слышно шептал он.

Придерживая рукою шапку, Григорий шагнул через подоконник, закрыл окно.

Он хотел обнять Аксинью, но она тяжело опустилась перед ним на колени, обняла его ноги, и, прижимаясь лицом к мокрой шинели, вся затряслась от сдерживаемых рыданий. Григорий поднял ее, усадил на лавку. Клонясь к нему, пряча лицо на груди у него, Аксинья молчала, часто вздрагивала и стискивала зубами отворот шинели, чтобы заглушить рыдания и не разбудить детей.

Видно, и ее, такую сильную, сломили страдания. Видно, солоно жилось ей эти месяцы... Григорий гладил ее рассыпавшиеся по спине волосы, горячий и мокрый от пота лоб. Он дал ей выплакаться вволю, потом спросил:

— Детишки живы-здоровы?

— Да.

— Дуняшка?

— И Дуняшка... Живая... и здоровая...

— Михаил дома? Да погоди же ты! Перестань, у меня рубаха вся мокрая от твоих слез... Ксюша! Дорогая моя, хватит! некогда кричать, времени мало... Михаил дома?

Аксинья вытерла лицо, мокрыми ладонями сжала щеки Григория. Улыбаясь сквозь слезы, не сводя с влюбленного глаз, тихо сказала:

— Я не буду... Я уже не кричу... Нету Михаила, второй месяц в Вешках, служит в какой-то части. Пойди же глянь на детей! Ой, и не ждали мы тебя и не чаяли!..

Мишатка и Полюшка, разметавшись, спали на кровати. Григорий склонился над ними, постоял немного и отошел

на цыпочках, молча присел возле Аксиньи.

— Как же ты? — горячим шопотом спросила она. — Как пришел? Где же ты пропал? А ежли поймают тебя?

— Я за тобой. Небось, не поймают! Поедешь?

— Куда?

— Со мною. Ушел я из банды. Я у Фомина был, слыхала?

— Да. А куда же я с тобой?

— На юг. На Кубань или дальше. Проживем, прокормимся как-нибудь, а? Никакой работой не погнушаюсь. Моим рукам работать надо, а не воевать. Вся душа у меня изболелась за эти месяцы... Ну, об этом после.

— А дети?

— Оставим на Дуняшку. Потом видно будет. Потом заберем и их. Ну? Едешь?

— Гриша... Гришенька...

— Не надо! Без слез. Хватит же! Потом покричим с тобой, время будет... Собирайся, у меня кони ждут в яру. Ну? Едешь?

— А как бы ты думал? — вдруг громко сказала Аксинья и испуганно прижала руку к губам, глянула на детей. — Как бы ты думал? — уже шопотом спросила она. — Сладко мне одной? Поеду, Гришенька, роденький мой! Пешки пойду, поползу следом за тобой, а одна больше не останусь! Нету мне без тебя жизни... Лучше убей, но не бросай опять!..

Она с силой прижала к себе Григория. Он целовал ее и косился на окно. Коротки летние ночи. Надо спешить.

— Может, приляжешь? — спросила Аксинья.

— Что ты! — испуганно воскликнул он. — Скоро рассветет, надо ехать. Одевайся и ступай покличь Дуняшку. Договоримся с ней. Нам надо затемно добраться до Сухого лога. Там в лесу переднюю, а ночью — дальше. Верхом-то ты усидишь?

— Господи, тут хоть бы как-нибудь, а не то — верхом! Я все думаю — не во сне ли это мне снится? Я тебя часто во сне вижу... и все по-разному... — Аксинья торопливо причесывала волосы, держа в зубах шпильки,

и говорила невнятно, тихо. Она быстро оделась, шагнула к двери.

— Разбудить детей? Хоть поглядишь на них.

— Нет, не надо, — решительно сказал Григорий.

Он достал из шатки кисет и стал сворачивать папироску, но как только Аксинья вышла — он поспешно подошел к кровати и долго целовал детей, а потом вспомнил Наталью и еще многое вспомнил из своей нелегкой жизни, и заплакал.

Переступив порог, Дуняшка сказала:

— Ну, здравствуй, братец! Прибился к дому? Сколько не блукать тебе по степи... — и перешла на причитания. — Дождались детки родителя... При живом отце стали сиротами...

Григорий обнял ее, сурово сказал:

— Тише, детишек побудишь! Ты это брось, сестра! Я эту музыку слышал! А слез и горя у меня своего хватает... Тебя я не за этим покликал. Детей возьмешь на воспитание?

— А ты куда денешься?

— Ухожу и Аксинью беру с собой. Возьмешь детей к себе? Устроюсь на работу, тогда заберу их.

— Ну, а как же? Раз уж вы обоим уходите, — возьму. Не на улице же им оставаться, и на чужих людей их не кинешь...

Григорий молча поцеловал Дуняшку, сказал:

— Великое спасибо тебе, сестра! Я знал, что не откажешь.

Дуняшка молча присела на сундук, спросила:

— Когда уходите? Зараз?

— Да.

— А дом как же? Хозяйство?

Аксинья нерешительно ответила:

— Смотри сама. Пусти квартирантов — или делай как знаешь. Что останется из одежды, из имущества — перенеси к себе...

— Что я скажу людям-то? Спросят, куда делась, — что я говорить буду? — спросила Дуняшка.

— Скажи, что ничего не знаешь, вот и весь сказ. — Григорий повернулся к Аксинье. — Ксюша, поспешай, соберись. Много не бери с собой. Возьми

теплую кофту, две-три юбки, бельишко, какое есть, харчей на первый случай, вот и все.

Чуть забрезжил рассвет, когда, простившись с Дуняшкой и переделовав так и не проснувшихся детей, Григорий и Аксинья вышли на крыльцо. Они спустились к Дону, берегом дошли до яра.

— Когда-то мы с тобой в Ягодное вот так же шли, — сказал Григорий. — Только узелок у тебя был тогда побольше, да сами мы были помоложе...

Охваченная радостным волнением, Аксинья сбоку взглянула на Григория.

— А я все боюсь — не во сне ли это? Дай руку твою, потрогаю, а то веры нету. — Она тихо засмеялась, на ходу прижалась к плечу Григория.

Он видел ее опухшие от слез и сияющие счастьем глаза, бледные в предрассветных сумерках щеки. Ласково усмехаясь, подумал: «Собралась и пошла как будто в гости... Ничто ее не страшит, вот молодец-баба!».

Словно отвечая на его мысли, Аксинья сказала:

— Видишь, какая я... свистнул, как собачонке, и побежала я за тобой. Это любовь да тоска по тебе, Гриша, так меня скрутили... Только детишек жалко, а об себе я и «ох» не скажу. Везде пойду за тобой, хоть на смерть!

Заслышав их шаги, тихо заржали кони. Стремительно приближался рассвет. Уже зарозовела чуть приметно на восточной окраине полоска неба. Над Доном поднялся от воды туман.

Григорий отвязал лошадей, помог Аксинье сесть в седло. Стремена были отпущены длинновато по ногам Аксиньи. Досадуя на свою непредусмотрительность, он подтянул ремни, сел на второго коня.

— Держи за мной, Ксюша! Выберемся из яра — пойдем наметом. Тебе будет не так тряско. Поводья не отпускай. Конишка, какой под тобой, этого недолюбивает. Береги колени. Он иной раз балуется, норовит ухватить зубами за колено. Ну, айда!

До Сухого лога было верст восемь. За короткий срок они проскакали это расстояние и на восходе солнца были

уже возле леса. На опушке Григорий спешился, помог Аксинье сойти с коня.

— Ну, как? Тяжело с непривычки ездить верхом? — улыбаясь, спросил он.

Раскрасневшаяся от скачки Аксинья блеснула черными глазами.

— Хорошо! Лучше, чем пешком. Вот только ноги... — И она смущенно улыбнулась: — Ты отвернись, Гриша, я гляну на ноги. Что-то кожу пощипывает... потерлась, должно быть.

— Это пустяки, пройдет, — успокоил Григорий. — Разомнись трошки, а то у тебя ноженьки что-то подрагивают... — И с ласковой насмешкой сощурил глаза: — Эх ты, казачка!

У самой подошвы буерака он выбрал небольшую полянку, сказал:

— Тут и будет наш стан, располагайся, Ксюша!

Григорий расседлал коней, стреножил их, положил под куст седла и оружие. Обильная густая роса лежала на траве, и трава от росы казалась сизой, а по косогору, где все еще таился утренний полумрак, она отсвечивала тусклой голубизной. В полураскрытых чашечках цветов дремали оранжевые шмели. Звенели над степью жаворонки, в хлебах, в душистом степном разнотравьи дробно выстукивали перепела: «Спать пора! Спать пора! Спать пора!». Григорий умял возле дубового куста траву, прилег, положив голову на седло. И гремучая дробь перепелиного боя, и усыпляющее пение жаворонков, и теплый ветер, наплывавший из-за Дона с неостывших за ночь песков — все располагало ко сну. Кому-кому, а Григорию, не спавшему много ночей подряд, пора было спать. Перепела уговорили его, и он, побежденный сном, закрыл глаза. Аксинья сидела рядом, молчала, задумчиво обрывая губами фиолетовые лепестки пахучей медвянки.

— Гриша, а никто нас тут не захватит? — тихо спросила она, коснувшись стебельком цветка заросшей щеки Григория.

Он с трудом очнулся от дремотного забытья, хрипло сказал:

— Никого нету в степи. Зараз же глухая пора. Я усну, Ксюша, а ты по-

карауль лошадей. Потом ты уснешь. Сон сморил меня... сплю... Четвертые сутки. Потом погутаим...

— Спи, родненький, спи крепше!

Аксинья наклонилась к Григорию, отвела со лба его нависшую прядь волос, тихонько коснулась губами щеки.

— Милый мой, Гришенька, сколько седых волос-то у тебя в голове... — сказала она шопотом. — Стареешь, стало быть? Ты же недавно парнем был... — И с грустной полуулыбкой заглянула в лицо Григорию.

Он спал, слегка приоткрыв рот, мерно дыша. Черные ресницы его, с сожженными солнцем кончиками, чуть вздрагивали, шевелилась верхняя губа, обнажая плотно сомкнутые белые зубы. Аксинья всмотрелась в него внимательнее и только сейчас заметила, как изменился он за эти несколько месяцев разлуки. Что-то суровое, почти жестокое было в глубоких поперечных морщинах между бровями ее возлюбленного, в складках рта, в резко очерченных скулах... И она впервые подумала, как, должно быть, страшен он бывает в бою, на лошади, с обнаженной шашкой. Опустив глаза, она мельком взглянула на его большие узловатые руки и почему-то вздохнула.

Спустя немного Аксинья тихонько встала, перешла поляну, высоко подобрала юбку, стараясь не замочить ее по росистой траве. Где-то недалеко бился о камни и звенел ручеек. Она спустилась в теклину лога, усталую замшелыми, покрытыми прозеленью каменными плитами, напилась холодной родниковой воды, умылась и досуха вытерла порумяневшее лицо платком. С губ ее все время не сходила тихая улыбка, радостно светились глаза. Григорий снова был с нею! Снова призрачным счастьем манила ее неизвестность... Много слез пролила Аксинья бессонными ночами, много горя перетерпела за последние месяцы. Еще вчера днем, на огороде, когда бабы, половшие по соседству картофель, запели грустную бабью песню, — у нее больно сжалось сердце, и она невольно прислушалась:

Тега-тега, гуси серые, домой,
 Не пора ли вам наплаваться?
 Не пора ли вам наплаваться,
 Мне, бабеночке, наплакаться...

выводил, жаловался на окаянную судьбу высокый женский голос, и Аксинья не выдержала: слезы так и брызнули из ее глаз! Она хотела забыться в работе, заглушить ворохнувшуюся под сердцем тоску, но слезы застилали глаза, дробно капали на зеленую картофельную ботву, на обессилевшие руки, и она уже ничего не видела и не могла работать. Бросив мотыгу, легла на землю, спрятала лицо в ладонях, дала волю слезам...

Только вчера она проклинала свою жизнь, и все окружающее выглядело серо и безрадостно, как в ненастный день, а сегодня весь мир казался ей ликующим и светлым, словно после благодатного летнего ливня. «Найдем и мы свою долю!» — думала она, рассеянно глядя на резные дубовые листья, вспыхнувшие под косыми лучами восходящего солнца.

Возле кустов и на солнцепеке росли душистые пестрые цветы. Аксинья нарвала их большую охапку, осторожно присела неподалеку от Григория и, вспомнив молодость, стала плести венки. Он получился нарядный и красивый. Аксинья долго любовалась им, потом воткнула в него несколько розовых цветков шиловника, положила в изголовье Григорию.

Часов в девять Григорий проснулся от конского ржания, испуганно сел, шаря вокруг себя руками, ища оружие.

— Никого нету, — тихо сказала Аксинья. — Чего ты испугался?

Григорий протер глаза, сонно улыбнулся.

— Приучился по-заячьи жить. Спшишь и во сне одним глазом поглядываешь, от каждого стука вздрагиваешь... От этого, девка, скоро не отвыкнешь. Долго я спал?

— Нет. Может, ишо уснешь?

— Мне надо сушки подряд спать, чтобы отоспаться как следует. Давай лучше завтракать. Хлеб и нож у меня в седельных сумках, достань сама, а я пойду коней напою.

Он встал, снял шинель, повел плечами. Жарко пригревало солнце. Ветер ворошил листья деревьев, и за шелестом их уже не слышно было певучего говора ручья.

Григорий спустился к воде, из камней и веток сделал в одном месте запруду, шашкой нарыл земли, засыпал ею промежутки между камнями. Когда вода набралась возле его плотины, он привел лошадей и дал им напиться, потом снял с них уздечки, снова пустил пастись.

За завтраком Аксинья спросила:

— Куда же мы поедем отсюда?

— На Морозовскую. Доедем до Платова, а оттуда пойдем пеши.

— А кони?

— Бросим их.

— Жалко, Гриша! Кони такие добрые, на серого прямо не наглядисься, и надо бросать? Где ты его добыл?

— Добыл... — Григорий невесело усмехнулся. — Грабежом взял у одного тавричанина.

После недолгого молчания он сказал:

— Жалко-не жалко, а бросать придется... Нам лошадьми не торговать.

— А к чему ты при оружии едешь? На что оно нам сдалось? Не дай бог, увидит кто — беды наберемся.

— Кто нас ночью увидит? Я его так, для опаски оставил. Без него мне уже страшновато... Бросим коней — и оружие брошу. Тогда оно уже будет ненужное.

После завтрака они легли на разостланной шинели. Григорий тщетно боролся со сном, Аксинья, опершись на локоть, рассказывала, как жила без него, как много выстрадала за это время. Сквозь неодолимую дрему Григорий слышал ее ровный голос и не в силах был поднятьотяжелевшие веки. Иногда он вовсе переставал слышать Аксинью. Голос ее удалялся, звучал глуше и затихал совсем. Григорий вздрагивал и просыпался, а через несколько минут уже снова закрывал глаза. Усталость была сильнее его желаний и воли.

— ...сучали, спрашивали — где батя? Я с ними по-всячески, всё больше

лаской. Приобькли, привязались ко мне и стали реже проводить Ду- няшку. Полюшка — тихонькая, сми- рная. Куклят ей нашью из лоскутков, она и сидит с ними под столом, зани- мается. А Мишатка раз прибегает с улицы, весь дрожит: «Ты чего?» — спрашиваю. Заплакал, да так горько. «Ребята со мной не играют, гово- рят — твой отец бандит. Мамка, верно, что он бандит? Какие бывают банди- ты?». Говорю ему: «Никакой он не бандит, твой отец. Он так... несчаст- ный человек». Вот и привязался он с расспросами: почему несчастный, и что такое несчастный? Никак ему не вто- лкую... Они сами, Гриша, стали звать меня матерью, не подумай, что я их учила. А Михаил ничего с ними обхо- дился, ласково. Со мной не здоровал- ся, отвернется и пройдет мимо, а им раза два сахару привозил из станицы. Прохор все об тебе горевал. Пропап, говорит, человек. На прошлой неделе зашел, погутарил об тебе и ажник слезьми закричал... Обыск делали у меня, всё оружие искали, и под застре- хами, и в погребу, и везде...

Григорий уснул, так и не дослушав рассказа. Над головой его шептались под ветром листья молодого вяза. По лицу скользили желтые блики света. Аксинья долго целовала его закрытые глаза, а потом и сама уснула, прижав- шись к руке Григория щекой, улы- баясь и во сне.

★

Поздней ночью, когда зашел месяц, они покинули Сухой лог. Через два ча- са езды спустились с бугра к Чиру. На лугу кричали коростели, в камышистых заводях речки надсаживались лягуш- ки, и где-то далеко и глухо стонала выпь.

Сплошные сады тянулись над реч- кой, неприветно чернея в тумане.

Неподалеку от мостка Григорий оста- новился. Полночное безмолвие царило в хуторе. Григорий пронул коня каблу- ками, свернул в сторону. Ехать через мост он не захотел. Не верил он этой тишине и боялся ее. На краю хутора

они переехали речку вброд и только- что свернули в узкий переулочек, как из канавы поднялся человек, за ним — еще трое.

— Стой! Кто едет?

Григорий вздрогнул от окрика, как будто от удара, натянул поводья. Мгновенно овладев собой, он громко отозвался: «Свои! — и, круто пово- рачивая коня, успел шепнуть Аксинье: — Назад! За мной!».

Четверо из заставы недавно распо- ложившегося на ночевку продотряда оста- ча и неспеша шли к ним. Один оста- новился прикурить, зажег спичку. Гри- горий с силой вытянул плетью коня Аксиньи. Тот рванулся и с места взял в карьер. Пригнувшись к лошадиной шее, Григорий скакал следом. Томи- тельные секунды длилась тишина, а по- том громом ударил неровный раскатис- тый залп, вспышки огня пронизали темноту. Григорий услышал жгучий свист пуль и протяжный крик:

— В ружье-е-е!..

Саженья в ста от речки Григорий догнал машисто ухотившего серого ко- ня, — поровнявшись, крикнул:

— Пригнись. Ксюша! Пригнись ни- же!

Аксинья натягивала поводья и, за- прокидываясь, валилась набок. Григо- рий успел поддержать ее, иначе она бы упала.

— Тебя поранили?! Куда попало?! Говори же!.. — хрипло спросил Гри- горий.

Она молчала и все тяжелее навали- валась на его руку. На скаку прижи- мая ее к себе, Григорий задыхался, шептал:

— Ради господ-бога! Хоть слово! Да что же это ты?!

Но ни слова, ни стопа не услышал он от безмолвной Аксиньи.

Верстах в двух от хутора Григорий круто свернул с дороги, спустился к яру, спешился и принял на руки Аксинью, бережно положил ее на землю.

Он снял с нее теплую кофту, разор- вал на груди легкую ситцевую блузку и рубашку, ощупью нашел рану. Пуля вошла Аксинье в левую лопатку, раз-

дробила кость и наконец вышла под правой ключицей. Окровавленными трясушимися руками Григорий достал из переметных сум свою чистую исподнюю рубашку, индивидуальный пакет. Он приподнял Аксиныю, подставил под спину ей колено, стал перевязывать рану, пытаясь унять хлеставшую из-под ключицы кровь. Ключья рубашки и бинт быстро чернели, промокали насквозь. Кровь текла также из полуоткрытого рта Аксиныи, клочкотала и булькала в горле. И Григорий, мертвец от ужаса, понял, что все кончено, что самое страшное, что только могло случиться в его жизни, — уже случилось...

По крутому склону яра, по тропинке, пробитой в траве и усеянной овечьими орешками, он осторожно спустился в яр, неся на руках Аксиныю. Безвольно опущенная голова ее лежала у него на плече. Он слышал свистящее, захлебывающееся дыхание Аксиныи и чувствовал, как теплая кровь покидает ее тело и льется изо рта ему на грудь. Следом за ним сошли в яр обе лошади. Фыркая и гремя удилами, они стали жевать сочную траву.

Аксиныя умерла на руках у Григория незадолго до рассвета. Сознание к ней так и не вернулось. Он молча поцеловал ее в холодные и соленые от крови губы, бережно опустил на траву, встал. Неведомая сила толкнула его в грудь, и он попятился, упал навзничь, но тотчас же испуганно вскочил на ноги. И еще раз упал, больно ударившись обнаженной головой о камень. Потом, не поднимаясь с колен, вынул из ножен шашку, начал рыть могилу. Земля была влажная и податливая. Он очень спешил, но удущье давило ему горло, и чтобы легче было дышать — он разорвал на себе рубашку. Предутренняя свежесть холодила его влажную от пота грудь, и ему стало не так трудно работать. Землю он выгребал руками и шашкой, не отдыхал ни минуты, но пока вырыл могилу глубиной в пояс, — ушло много времени.

Хоронил он свою Аксиныю при ярком утреннем свете. Уже в могиле он крестом сложил на груди ее мертвенно по-

белевшие смуглые руки, головным платком прикрыл лицо, чтобы земля не сыпала ее полуоткрытые, неподвижно устремленные в небо и уже начавшие тускнеть глаза. Он попрощался с нею, твердо веря в то, что расстанутся они ненадолго...

Ладонями старательно примял на могильном холмике влажную желтую глину и долго стоял на коленях возле могилы, склонив голову, тихо покачиваясь.

Теперь ему незачем было торопиться. Все было кончено.

В дымной мгле суховея вставало над яром солнце. Лучи его серебрили густую седину на непокрытой голове Григория, скользили по бледному и страшному в своей неподвижности лицу. Словно пробудившись от тяжкого сна, он поднял голову и увидел над собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца.

Глава XVIII

Ранней весной, когда сойдет снег и подсохнет полегшая за зиму трава, в степи начинаются весенние палы. Потоками струится подгоняемый ветром огонь, жадно пожирает он сухой аржанец, взлетает по высокому будильям татарника, скользит по бурым верхушкам чернобыла, стелется по низинам... И после долго пахнет в степи горькой гарью от выжженной и потрескавшейся земли. Кругом весело зеленеет молодая трава, трепещут над нею в голубом небе бесчисленные жаворонки, пасутся на кормовитой зеленке пролетные гуси и вьют гнезда осевшие на лето стрепета. А там, где прошлись палы, зловеще чернеет мертвая обуглившаяся земля. Не гнездует на ней птица, стороною обходит ее зверь, только ветер, крылатый и быстрый, пролетает над нею и далеко разносит сизую золу и едкую темную пыль.

Как выжженная палами степь, черна стала жизнь Григория. Он лишился всего, что было дорого его сердцу. Все отняла у него, все порушила безжалостная смерть. Остались только дети. Но сам он все еще судорожно цеплял-

ся за землю, как будто и на самом деле изломанная жизнь его представляла какую-то ценность для него и для других...

Похоронив Аксинью, трое суток бесцельно скитался он по степи, но ни домой, ни в Вешенскую не поехал с повинной. На четвертые сутки, бросив лошадей в одном из хуторов Усть-Хоперской станицы, он переправился через Дон, пешком ушел в Слащевскую дубраву, на опушке которой в апреле впервые была разбита банда Фомина. Еще тогда, в апреле, он слышал о том, что в дубраве оседло живут дезертиры. К ним и шел Григорий, не желая возвращаться к Фомину.

Несколько дней бродил он по огромному лесу. Его мучил голод, но пойти куда-либо к жилью он не решался. Он утратил со смертью Аксиньи и разум и былую смелость. Треск поломанной ветки, шорох в густом лесу, крик ночной птицы — все повергало его в страх и смятение. Питался Григорий недозрелыми ягодами клубники, какими-то крохотными грибами, листьями орешника — и сильно отощал. На исходе пятого дня его встретили в лесу дезертиры, привели к себе в землянку.

Их было семь человек. Все они — жители окрестных хуторов — обосновались в дубраве с осени прошлого года, когда началась мобилизация. Жили в просторной землянке по-хозяйски домовито и почти ни в чем не нуждались. Ночами часто ходили проводить семьи; возвращаясь, приносили хлеб, сухари, пшено, муку, картофель, а мясо на вареве без труда добывали в чужих хуторах, изредка воруя скот.

Один из дезертиров, некогда служивший в 12-м казачьем полку, опознал Григория, и его приняли без особых пререканий.

★

Григорий потерял счет томительно тянувшимся дням. До октября он кое-как прожил в лесу, но когда начались осенние дожди, а затем холода, — с новой и неожиданной силой проснулась в нем тоска по детям, по родному хутору...

Чтобы как-нибудь убить время, он целыми днями сидел на нарах, вырезывал из дерева ложки, выдалбливал миски, искусно мастерил из мягких пород игрушечные фигурки людей и животных. Он старался ни о чем не думать и не давать дороги к сердцу ядовитой тоске. Днем это ему удавалось, но длинными зимними ночами тоска воспоминаний одолевала его. Он подолгу ворочался на нарах и не мог заснуть. Днем никто из жильцов землянки не слышал от него ни слова жалобы, но по ночам он часто просыпался, вздрагивая, проводил рукою по лицу — щеки его и отросшая за полгода густая борода были мокры от слез.

Ему часто снились дети, Аксинья, мать и все остальные близкие, кого уже не было в живых. Вся жизнь Григория была в прошлом, а прошлое казалось недолгим и тяжким сном. «Походить бы ишо раз по родимым местам, покрасоваться на детишек, а тогда можно бы и помирать» — часто думал он.

На повесне как-то днем неожиданно появился Чумаков. Он был мокр по пояс, но попрежнему бодр и суетлив. Высушив одежду возле печурки, обогрившись, подсел к Григорию на нары.

— Погуляли же мы, Мелехов, с той поры, как ты от нас отбился! И под Астраханью были, и в калмыцких степях... Поглядели на белый свет! А что крови чужой пролили — счету нету. У Якова Ефимыча жену взяли заложницей, имущество забрали, ну, он и остервенился, приказал рубить всех, кто советской власти служит. И зачали рубить всех подряд: и учителей, и разных там фельдшеров, и агрономов... Чорт-те кого только не рубили! А зараз — кончили и нас, совсем, — сказал он, вздыхая и все еще ежась от озноба. — Первый раз разбили нас под Тишанской, а неделю назад — под Солоним. Ночью окружили с трех сторон, оставили один ход на бугор, а там снегу — лошадям по пузо... С рассветом вдарили из пулеметов, и началось... Всех посекали пулеметами. Я да сынишка Фомина — только двое и спаслись. Он, Фомин-то, Давыдку своего с собой возил с самой

осени. Погиб и сам Яков Ефимыч... На моих глазах погиб. Первая пуля попала ему в ногу, перебила коленную чашечку, вторая — в голову, наосклизь. До трех раз падал он с коня. Остановимся, подыдем, посадим в седло, а он проскачет трошки и опять упадет. Третья пуля нашла его, ударила в бок... Тут уж мы его бросили. Отскакал я на сотенник, оглянулся, а его уже лежачего двое конных шашками полосуют...

— Что ж, так и должно было получиться, — равнодушно сказал Григорий.

Чумаков переночевал у них в землянке, утром стал прощаться.

— Куда идешь? — спросил Григорий.

Улыбаясь, Чумаков ответил:

— Легкую жизнь шукать. Может, и ты со мной?

— Нет, топай один.

— Да, мне с вами не жить... Твое рукомерло, Мелехов, — ложки-чашки вырезать — не по мне, — насмешливо проговорил Чумаков и с поклоном снял шапку: — Спаси христос, мирные разбойнички, за хлеб-соль, за приют. Нехай боженька даст вам веселой жизни, а то дюже скучно у вас тут. Живете в лесу, молитесь поломанному колесу, разве это жизнь?

Григорий после его ухода пожил в дубраве еще с неделю, потом собрался в дорогу.

— Домой? — спросил у него один из дезертиров.

И Григорий, впервые за все время своего пребывания в лесу, чуть приметно улыбнулся:

— Домой.

— Подождал бы весны. К первому маю амнистию нам дадут, тогда и разойдемся.

— Нет, не могу ждать, — сказал Григорий, и распрошлся.

Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора Татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнее от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитвянку, конопляные хлопья, пузырек с ружейным маслом, зачем-то пересчи-

тал патроны. Их было двенадцать обойм и двадцать шесть штук росьшьпо.

У крутояра лед отошел от берега. Прозрачно зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели.

Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему.

Мишатка обламывал свисавшие с камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз, под гору.

Григорий подошел к спуску, — задыхаясь, хрипло окликнул сына:

— Мишенька!.. Сынок!..

Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он угадал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца...

Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в дубраве, своих детей, — сейчас вылетели у него из памяти. Опутившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово:

— Сынок... сынок...

Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, иступленно горящими глазами жадно всматриваясь в его лицо, спросил:

— Как же вы тут?.. Тетка, Полюшка — живые-здоровые?

Попрежнему не глядя на отца, Мишатка тихо ответил:

— Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью... От глотошной... А дядя Михаил на службе...

Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим опромным, сияющим под холодным солнцем миром.

мительность, стремительность и еще раз стремительность удара по врагу. Необычайная маневренность, ночные нападения (необычные для белого командования, не привыкшего воевать по ночам), находчивость в использовании промахов противника, быстрота ориентировки и учета складывающейся во время боя обстановки и естественных условий — эти свойства и особенности, присущие бойцам и командирам Первой Конной, образно разворачиваются на страницах этой скромной книжки, написанной точным языком военного.

Первая Конная росла и крепла, закалялась и одерживала блестящие, исторические победы над врагом, руководимая партией и военным гением Сталина. Автор рассказывает об этом непосредственном руководстве товарища Сталина, о посещении им бойцов-конармейцев, о работе комиссаров и росте партийных организаций.

Шаг за шагом, от корпуса к конармии, от операции по разгрому Мамонтова и Шкуро под Воронежем до генеральных боев за Ростов и к окончательному разгрому Деникина и всей южной контрреволюции ведет автор свой рассказ.

Книжка закончена знаменитым житомирским прорывом белопольского фронта в 1920 г. Хочется пожелать автору и Воениздату выпустить в свет продолжение рассказов о Первой Конной в боях против Врангеля под Перекопом и дальнейших подвигах конармейцев.

Издана книжка опрятно. Частые подзаголовки в тексте не мешают изложению, а, наоборот, логически разделяют книжку как бы на самостоятельные рассказы. При повторных изданиях к книжке не лишне приложить две-три карты героического похода грозной легендарной Первой Конной армии.

В. Соболев.

Редакция: Ф. В. Гладков
Л. М. Леонов
В. П. Ставский
М. А. Шолохов

Ответственный редактор В. П. Ставский

Редакция: Москва 6, Пушкинская площадь, 5.

Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»

Уполн. Главлита А-24879. Сдано в набор 9/II-20/III-40 г. Подписано к печати 22/III-40 г.
25 печ. листов. Тираж 80.000. Зак. 685. Технический редактор И. К. Костиков.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.